

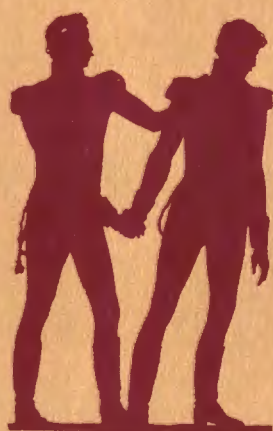


---

*А.А.Бестужев-Марлинский*

---

*РОМАНТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ*







*А. А. Бестужев-Марлинский*



**РОМАНТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ**



*Alexander Kemyelz*





*А.А. Бестужев-Марлинский*



**РОМАНТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ**



Свердловск  
Средне-Уральское книжное издательство  
1984

**Сельская библиотека Нечерноземья**

**Общественная редколлегия**

**В. В. Дементьев (председатель)**  
**И. И. Акулов, В. И. Белов, И. А. Васильев**  
**С. В. Викулов, С. А. Воронин, Ю. Т. Грыбов**  
**Г. М. Гусев, В. В. Шкаев, С. И. Шуртаков**

**Составитель В. Ф. Турунтаев**

**Предисловие Вл. И. Гусева**

**Комментарии В. А. Кулешова**

**Тексты печатаются по изданию:**  
**А. А. Бестужев-Марлинский. Сочинения**  
**в двух томах. М.: Художественная**  
**литература, 1981**

## СУДЬБА АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА<sup>1</sup>

Бывают несправедливости, за которые как бы некого обвинить.

Конечно, главной несправедливостью в судьбе Александра Бестужева был тот факт, что он, один из талантливейших, образованнейших и в перспективе полезнейших для России людей своего времени, был насильственно выброшен из официальной жизни на самом утре своих недюжинных сил; иными словами, в этой беде Бестужева виноватых найти легко: это царь Николай и его пресловутый Следственный комитет.

Однако же в судьбе Марлинского есть свои, особые трудности; кажется, что она порою специально смеялась над ним, что над ним, как и над его семейством в целом, тяготел злой рок.

Их было пятеро братьев и три сестры у старухи матери — все необыкновенно и разнообразно одаренные, деловые, здоровые, сильные. Впоследствии на каторге и на поселении Михаил и Николай Бестужевы удивляли товарищей своими познаниями и умением в области механики, агрономии, поэзии, рисования, флотоводства и еще многого. А ведь товарищи были таковы, что их трудно было удивить умом и талантами... Михаил Бестужев, моряк и пехотинец, написал знаменитую в будущем сибирскую песню декабристов «То не ветер шумит...» — на мотив протяжной русской «Уж как пал туман»: о подвиге Сергея Муравьева-Апостола и его полка. Николай Бестужев был живописцем; он же самолично мастерил гроб для умершей в Петровском Заводе Александрины Муравьевой. Его же опыт как моряка, бывшего в разных фантастических плаваниях, сослужил службу его брату Александру как беллетристу; Александр еще в детстве готовился во флот, жил у старшего брата в Кронштадте, ходил в плавания, однако же резко выраженные гуманитарные наклонности помешали ему стать морским офицером, как другие Бестужевы: требовалось основательное математически-техническое образование...

Сразу можно заметить, что в воспоминаниях о сибирских делах Бестужевых отсутствует имя самого Александра...

Одним из худших проклятий для Александра было вечное, начиная с ареста, испытание одиночеством: и это при его-то общительной, глубоко деятельной натуре...

---

<sup>1</sup> Статья печатается с небольшими сокращениями.

И это было не единственное свидетельство особого внимания к нему «злого рока»; родившись в 1797 году и, таким образом, будучи лишь на два года старше Пушкина, он, разумеется, впоследствии обречен был стать звездой в лучах солнца — незавидная участь для такого талантливого человека, как Марлинский; правда, тут снова можно сказать, что этой участи не избег не он один, а многие одареннейшие люди пушкинского возраста, поколения; но опять — слабое утешение; в судьбе Марлинского удивительным образом скрещиваются несчастья разных групп и слоев людей его времени... но ведь его-то жизнь — лишь одна, не надо забывать этого; и это скрещение — излишняя «роскошь» для одного человека... Тяготая к литературе, искусству, истории, он попал в драгуны; тоже «многих славных путь»: «Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской...» Став, по общему мнению (причем среди этого «общего» есть мнение самого Пушкина), лучшим и чуть ли не первым подлинным критиком, издателем 20-х годов, призвав под флаг своей ныне знаменитой (название повторено Герценом!) «Полярной звезды» тех лучших писателей, которых мы и теперь считаем лучшими для тех лет, *de facto* теоретически оформив в России революционный, действенный романтизм как школу и направление, — он был в 30-е годы сначала нарочито, а потом и естественно забыт в этой своей роли, и самые слова «Взгляд на русскую литературу» такого-то года у нас теперь прочно ассоциируются с именем Белинского, а не с именем Александра Бестужева; он был практически одной из первых, если не первой, фигурой самого «мятежа» на Сенатской площади: Пестель был взят накануне, на Юге, Трубецкой не явился. Рылеев искал Трубецкого и терзался религиозными сомнениями в разгар самого дела, между тем как Александр Бестужев, размахивая саблей, яростно поощрял роты Московского полка, идущие к площади, — шествовал во главе колонны, хотя по военной линии не имел никакого отношения к полку; так же было и на самой площади... и вот Бестужев даже не удостоился горькой чести и славы быть названным в числе «главарей» и высших мучеников движения; дело в том, что, видя поражения и аресты, он сам явился на гауптвахту — как впоследствии, например, Сухинов на Юге, не пожелал один остаться на свободе, зная, что товарищи, братья уже в темнице; добровольная явка, однако, «зачлась» ему на следствии и несколько пошатнула его репутацию в глазах революционеров. Почти все декабристы имеют печально-патетическое утешение как-то общаться с товарищами, поддерживать друг друга — быть в своем кругу; Александр Бестужев лишен и этого: его удел — сначала одиночки в балтийских крепостях, затем — Якутск — тысячи верст от самих-то Читы, Иркутска, которые в Петербурге казались «закраем» света; затем — служба рядовым

без права выслуги, Кавказ, «линия», причем тоже полное духовное одиночество: хотя Кавказ в ту эпоху видал многих подобных ему и привык к тому, «что под белой фуражкой», возможно, таится «образованный ум» (Лермонтов), но Бестужеву не повезло и в этом случае: у него практически не было встреч, подобных встрече Лермонтова с Александром Одоевским — сподвижником Бестужева по «делу»; его возлюбленная Ольга Нестерцова застрелилась в его комнате, что, помимо душевных терзаний, добавило и терзаний житейских: все шло в зачет против гонимого декабриста; слава его росла, но сам он был один и один; притом слава «славой, но ново-литературная, собственно «прозаическая», «беллетристическая» (как любят говорить о Марлинском!) его судьба складывалась, в сущности, весьма драматически, если не трагически.

Здесь мы сталкиваемся с одним из самых смутных и беспокоящих для ума, для сердца недоразумений в истории русской литературы.

Занималась мощная заря великой русской прозы, великого русского реализма; Марлинский нантем чувствовал многое, но «дневным» своим умом он, конечно, не знал, не ведал об этом — и не ведал о своей роли в этом рассвете.

И эта-то роль была смутна и трагична.

Начиная с 1825 года имя молодого издателя, знаменитого критика, известного поэта, начинающего беллетриста Александра Бестужева по естественным причинам исчезает со страниц печати; пять цветущих братьев, одновременно оторванные от старухи матери, вырастившей их без (рано умершего) отца, гордой ими, «полагавшей» в них основные смысл и удачу своей жизни, и брошенные на волю бюрократически наказующих стихий, оказались «вычеркнуты»<sup>1</sup> из истории русской культуры, техники, флота и так далее; кстати, Николаю указывали (в частности, Мордвинов), что многочисленные таланты декабристов, коли их уж нельзя было сохранить для официальной России, должны быть использованы хотя бы для культурного роста Сибири; Николай сначала «показывал», что и вовсе не хочет губить эти таланты: здесь разгадка той суеты с различными проектами государственного переустройства, которая царил в камерах надеющихся заключенных: было прямое распоряжение царя писать такие проекты; но затем он не использовал даже и сибирского варианта: вся знаменитая просветительская работа декабристов в Сибири есть плод их собственной энергии, инициативы и деятельных сил.

Итак, «вычеркнуты».

Истории некуда спешить — она, рано или поздно, все равно

---

<sup>1</sup> Пятый, Павел, не был замешан в «дело», но тоже пострадал.

все, что считает нужным, поставит на свои места; но коротка жизнь отдельного человека, и ему есть куда спешить.

Пять лет Александра Бестужева как бы нет на свете, хотя он есть; героические усилия не сломленной духом старшей сестры — она ведь тоже русская просвещенная дворянка, интеллигентка Бестужева! — дали немного: две-три разрозненные стихотворные публикации за подписью А. М.; а ведь жизнь идет своим чередом...

Пушкин написал «Бориса Годунова» и кончает «Онегина»; Александр Бестужев знает об этом; Онегину, как характер, бесит его: ему не нравится опустошенность, паразитизм, эгоизм героя; Александр Бестужев привык ценить людей иного сорта; а может, здесь есть и ревность к поэту, к гению, благополучно миновавшему «вихорь шумный» и оставшемуся на поверхности литературы — кто знает? — непониманию души поэтов, и всякое в них есть: зачем скрывать это; в «Дневниках» Кюхельбекера порой тоже ощутимо не только принципиальное неприятие «арханстом» поэтики «новатора» Пушкина, но и тайная память о том, что Пушкин как-никак, но печатается, а поэмы самого Кюхельбекера без движения лежат в ссыльных архивах...

Что, впрочем, не мешает ни Кюхельбекеру, ни Бестужеву неизменно отдавать должное гению Пушкина: для таких людей интересы духа — превыше всего.

Когда точно была написана повесть «Испытание», открывшая зрелого Бестужева и, как увидим, имевшая важное значение для внутренней «интонировки» русской литературы, никто не знает; но факт, что она была отослана издателю 15 мая 1830 года (см. примечания) и тут же напечатана; а «Повести Белкина» Пушкина писаны осенью того же 1830-го — в знаменитую болдинскую эпоху. И с них-то «официально» начинается проза Пушкина; предшествующие очерки, отрывки и наброски есть очерки, отрывки и наброски, пусть и пушкинские.

Что это значит?

Войдем в некоторые особенности ситуации.

Бестужев по-прежнему не мог, конечно, подписываться собственным именем; он взял псевдоним Марлинский — по «званию» местечка под Петербургом, Марли, где он жил в пору безмятежной и радужной своей юности; рядом, в Петергофе, стоял его лейб-драгунский полк.

Широкая, а порою и избранная публика тех времен, при всей феноменальной и все растущей популярности загадочного Марлинского, не отождествляла его с «бывшим» Александром Бестужевым; но более поздние-то ценители — уже знавшие, что почем и откуда, — прочно привязывали имя Бестужева-Марлинского к идее резкого и крайнего, плоского романтизма.

На это были некоторые, хотя, скажем сразу, и не полные, основания.

Александр Бестужев был известен как практически первый на русской почве теоретик романтизма в начале — середине 20-х годов; а соблазн судить о сути писателя по его теоретическим декларациям был всегда относительно силен в критике, публицистике; сам Марлинский подлил масла в огонь тем, что в своей концепции вовсе не «не предусмотрел» реализма (это бы ему еще простили), а как раз предусмотрел и учел его — и считал его лишь элементом самого романтизма, одним из частных проявлений его, стадней, предшествующей истинному взлету творчества, а не завершающей его; как нарочно, художественная практика самого Марлинского отчасти отвечала этой схеме: например, «Испытание» — произведение, более близкое реалистическому принципу, как его понимали в дальнейшем, — написано, как мы убедились, не позже начала 30-го; а наиболее известные в широкой публике и ставшие как бы символом всего Марлинского его кавказские повести, и прежде всего «Аммалат-бек», куда ближе ортодоксально-романтическому принципу, а написаны после. (Я сейчас не беру а не-романтические «вальтер-скоттовский» «Ревельский турнир», «декабристско-новгородское» «Роман и Ольга» и подобное). Этих и некоторых других факторов было достаточно, чтобы новая критика в лице гениально одаренного Белинского, обладавшего колоссальной силой внушения, дала бой «фальшивому» романтизму Марлинского — бой, в котором Марлинский был важен не сам по себе, а как некто, кто стоит на пути искусства «действительности» — нарастающего реализма. (Такова же под пером Белинского была участь Н. А. Полевого и других романтиков.)

Прав или не прав был Белинский?

Он прав был, как сама логика истории, логика жизни; он сделал то, что должно было сделать.

Он протрубил в рог — и «натуральная школа» двинула в поход — по расчищенной дороге! — свою тяжелую, грозную артиллерию...

Но легкая-то кавалерия Александра Бестужева!

Но сам-то Марлинский: сам, а не только как «символ романтизма»!..

Да и так ли уж он был «легок»?

Прочтение Марлинского ощутимо почти у всех крупнейших наших писателей, начинавших с 30-х по 50-е годы XIX века.

Если хоть немного подумать, тут нет ничего удивительного, а удивительно было бы обратное; Марлинского в те годы читали все — так неужто уж не читали бы молодые писатели?

Назову лишь некоторые совпадения, отмеченные и не отме-

чанные в критике за прошедшие полтора-два года с момента развертывания активной работы Марлинского как прозаика. Начнем с прозы Пушкина, в то время уже признанного гения. В повести «Испытание», которой вообще повезло на параллели и которая, как сказано, и не является столь ортодоксально-романтической, как принято думать о Марлинском<sup>1</sup>, начало и другие места неимоверно напоминают по интонации, деталям и атмосфере «Выстрел» и «Пиковую даму», а ведь Пушкин, как видим, писал эту прозу куда позднее, чем Марлинский свое «Испытание». Вот начальные строки всех трех повестей: «Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры \*\*ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься... Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях... все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат...» (Марлинский). «Мы стояли в местечке\*\*\*. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. В\*\*\* не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видели ничего» («Выстрел»). «Однажды играли в карты у конногвардейца Наумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались, в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие... я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» («Пиковая дама»). (Обратим внимание и на тождество самой ритмики, типа последней фразы Пушкина и фразы «Остряки досадовали...» и т. д.) В «Капитанской дочке» — явные переключки с фабульными перипетиями «Лейтенанта Белозора», хотя конкретная фактура другая. Рассуждения о Петре («Амалат-бек») четко перезванивают с «Медным всадником», который тоже написан позже и вообще не был напечатан при жизни Пушкина. Пусть Пушкин иногда стилистически не столько следует Марлинскому, сколько полемизирует с ним: «отталкивание» — форма учета традиции... Еще более очевидное дело с Лермонтовым. У Марлинского в 20-е годы есть стихи, в которых черным по белому написано — «Белеет парус одинокий»; в другом стихотворении есть строки, буквально «повторяющие» мысли и

<sup>1</sup> Он вообще, при ближайшем рассмотрении, понимал романтизм куда шире, чем ему приписывают; вспомним и пушкинский «истинный романтизм».

почти буквально — слова знаменитой «Думы», написанной более чем десятью годами позже («Источники забав от пресыщенья мутны. Мы стары в двадцать лет, а в пятьдесят распутны...»). Прямо перекликаются «Испытание» и «Маскарад». Характер и тон речи Мцыри — аммалатовские. Я уж не говорю о бесчисленных параллелях между «Аммалат-беком» (1832!), а также и другими повестями, и «Героем нашего времени»: Амалат — Азамат в их отношении к русскому офицеру, различные описания и пр. Не говорю подробно и о том, что строфы о «владельце Синодала» в «Демоне» (конец 30-х) есть местами дословно переложенное в стихи изображение Амалата при его первом появлении в повести: «Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плеча... Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою... Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица... Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихрь...» (с «Аммалат-бек»). «Он сам, владетель Синодала, Ведет богатый караван; Ремнем затянут ловкий стан; Оправа сабли и книжала Блестит на солище; за спиной Ружье с насечкой вырезной. Играет ветер рукавами Его чухи,— кругом она Вся галуном обложена. Цветными вышито шелками Его седло; узда с кистями; Под ним весь в мыле конь лихой Бесценной масти, золотой...» («Демон»). Лермонтов вообще очень интенсивно усваивал окружающую его романтическую поэтику; у него найдем цитаты из Пушкина, Байрона; что касается «Героя», особенно в ранних его редакциях, а также и «Маскарада», то можно еще смело назвать В. Ф. Одоевского с его «Княжной Мими» и «Княжной Зизи»... Гоголь, чьи соответствующие публикации все появились позже, явственно «ощутим» в описании Невского проспекта и в самих интонациях, приемах «включения» авторского голоса в «Испытании» («Невский проспект» и др.), в «Страшном гадании», «Замке Эйзене» («Страшная месь», «Сорочинская ярмарка» и др.): «Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой трижды погрузился в его череп, прежде чем он успел упасть на землю...» («Страшное гадание»). «Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида... страшный огонь пугливо сыпался из очей... И, как бешеный, кинулся он — и убил святого схимника...» («Страшная месь»). Есть у Марлинского и (мимолетное) рассуждение о тройке, о быстрой езде, которую любят русские: «Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения» («Страшное гадание»). Есть и «геронческие» страницы, перекликающиеся с будущим «Тарасом Бульбой», особенно в прибалтийских повестях. В целом раннего Гоголя много в Марлинском; конечно, тут играл роль и «обще-

романтический» канон, уже твердый, и четкий к тому времени; но и прямое прочтение то и дело заметно. А ведь Беллинский чрезвычайно резко противопоставляет того — другому... В «Страшном гадании» местами откровенно чувствуем «Бежин луг»; да есть и недвусмысленные отзывы Тургенева о Марлинском, позволяющие допустить это, даже если бы мы и не видели это своими глазами; толстовское описание терских казаков («Казаки») также порою почти по фразам совпадает с бестужевским («Аммалат-бек»): «Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков... Казаки этн отличаются от горцев только небритою головою... оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское... Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам — но в поле враги неумолчные...» («Аммалат-бек»). «Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины... Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычан, образ жизни и нравы горцев... Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца...» («Казаки»). Причем интересно, что реальный Аммалат тогда не был за Терек: Марлинский специально «послал» его туда, чтобы описать «набег» и казаков, к которым, по-видимому, испытывал интерес, именно подобный толстовскому (вольность, близость природе). Нет нужды подробно вспоминать по тому же поводу «Хаджи-Мурата» и «Кавказского пленника».

Бестужев: «Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность... и вы убедитесь... что мы учение ученых, ибо довели, что науки вздор; что пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла» («Мореход Никитин»). Лесков: «Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться («Железная воля»). Та же интонация есть и у Щедрина.

Причем речь, как видим, идет не о неких догадках, а о совпадениях, порой почти фразовых, интонационных: достаточно пристальней обратиться к названным текстам, чтобы убедиться в этом еще надежнее. Справедливости ради надо сказать, что в прозе самого Марлинского порой ощутимо влияние стихов Пушкина, в частности, кавказских поэм и Онегина. Но, конечно, проза есть проза, как бы поэтична она ни была.

Что сказать обо всем этом?

Генин взял — и пошел дальше: они не нуждаются в оправданиях. Победителей не судят и в искусстве. Гениальная индивидуальность царственно переплавляет в горниле своего духа любое заимствование, реминисценцию.

Но, видимо, были некие черты в самом Марлинском, которые позволили ему нитонировать столько гениев; было в нем нечто, что обращало к нему истинное, а не только суетное внимание.

Проза Марлинского есть более сложное, рельефное явление, чем она порою кажется.

Более сложное и в смысле самой поэтики, стиля, и — к сожалению для нас и к драме Марлинского — в смысле уровня, цельности создания.

О последнем: его то превозносили, то в пух ниспровергали; а он просто неровен, и хвалили и ниспровергали его — за иное, разное...

У гения мы чаще всего не замечаем мастерства; нам кажется, что все так естественно и вылилось, как оно есть — все в одном целом, все на одном — высшем — уровне.

У Марлинского не так; мы ощущаем у него разноречивый уровень.

Он не выдерживает того предельного духовного напряжения, которое предполагает его поэтическая проза<sup>1</sup> — и срывается, он — что называется, гениальный дилетант; а те — профессионалы! Он, как неопытный или не самый классный спортсмен, неверно распределяет силы, не умеет концентрировать их там, где надо, и разреживать там, где надо; он вдруг «выкладывается» весь в каком-нибудь в самом начале — как при великолепнейшем описании того же Невского и всего въезда в Петербург в «Испытании», как при общей характеристике барона в начале «Замка Эйзен»; он «вдруг» пишет почти совершенно ровное и исполненное ума, пластики и, главное, чувства меры (обычно не первое достоинство Марлинского!) повествование «Мореход Никитин» — к сожалению, слишком короткое; и тут же следует какая-нибудь риторика, трескучее описание любовных излияний или красот возлюбленной (искусство возвышенного портрета не давалось Марлинскому в его романтическом стиле), некое наивное объяснение героев или вызывающая усмешку мотивировка их поступков; или фразы, подобные вот этой — взятой с первых страниц «Аммалат-бека»: «Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре»... Какая неэкономность средств! Три слова с внутренней формой «розовости»

---

<sup>1</sup> Термин В. В. Виноградова.

в одной строке! Да, тут «романтизм есть романтизм» — как романтизм узкий, пересыщенный... Есть за что ругать...

Но все же не в том суть поэтической прозы Марлинского; конечно, он не Пушкин, не Лермонтов, не Гоголь, и не Толстой — увы; но и они без него, как видим, немислимы; и как часто мы судим таланты не по их силе, а по их слабости...

Розы, румянец, заря?

А вот вам лишь некоторые цитаты из «того же» Марлинского:

«Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копытам привязаны были кони; один поил их из шишаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распушены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе».

От конкретности и «ядреной» пластичности, пронизывающих это описание, не отказались бы, я думаю, ни Карамзин, ни Пушкин, ни любой писатель-реалист; между тем Бестужеву тут 25 лет и это самая ранняя его повесть — «Роман и Ольга». Она, по декабристской традиции, посвящена новгородской вольнице, и стиль ее соответствует — яркое, упругое, энергичное.

Вот еще — уже без особых комментариев: «Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара» («Ревельский турнир»). Или: «В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа. Сенная площадь, думал гусар наш, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра и на камчатных скатертях вельмож, и на обнаженном столе простолюдина — покупателей их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ошпанные гуси, забыв капитолийскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носках тысячами слетались из олонечских и новгородских лесов, чтобы отвесть столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем...» («Испытание»). (Кроме всего: чем не «натуральная школа»!)

«На носовом помосте лежал ничком, свесив голову за борт, ко-

ренастый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом — работать, когда нужно, спать, когда можно...

...Савелый, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски...

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души» («Мореход Никитин»).

В чем угодно откажешь таким пассажирам, но не в живости, конкретности и подлинной образности письма.

И, смею уверить, таких мест у Марлинского куда больше, чем «роз».

Могут возразить: зачем же столь обильно цитировать? Не подозрительно ли это? Не извлекли ли вы из Марлинского все, что вообще можно было из него извлечь, как оно и водится в таких случаях?

Нет: обратитесь к текстам.

Они, к счастью, здесь же, после статьи.

Если же и цитировал обильней, «чем следует», то лишь с тем, чтобы как-то сдвинуть предрассудок.

Марлинский, да, богаче, чем о нем думают; о нем говорят: «напыщенная выдумка», и это есть местами, — но он, например, при этом весь проникнут духом простого документализма, и почти каждая его история, при всех «художественных» добавлениях, четко имеет за собой реальную подоплеку и героев; романтизм его психологически нередко есть реализм: Бестужев описывает то, что реально видел и реально с ним было, но поскольку это реальное совершенно фантастично (такова уж его судьба), то и выходит — романтизм... Описания его, как правило, точны и добросовестны, его деятельный дух, натура с любовью обращались к жизни, этносу, природе каждого народа, в среду которого закидывала его фортуна; его живой разум, воображение (любимое слово его поколения!) цепко схватывали факты — и непринужденно «опрокидывали» их в повествование; кстати, эти принципы и всегда были в арсенале большого, «истинного» (Пушкин) романтизма, будь то Шекспир, Гофман или В. Скотт, любимые Марлинским (что видно и по некоторым его образам, фразам, сюжетам); он, как и следует романтику, глубоко ценит народное, национальное нача-

ло в литературе и, со свойственной истинно русскому человеку способностью «применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить» (Лермонтов), быстро умел схватить изнутри дух каждой национальности и ее легенд, всего фольклора, будь то самые русские («Роман и Ольга», «Мореход Никитин», «Лейтенант Белозор» и др.), немцы («Замок Эйзен», «Ревельский турнир» и др.); эстонцы («Замок Нейгаузен») или кавказские народы («Ам-малат-бек» и др.); о нем говорят, что он не понял наступающего реализма, — а все сказанное и процитированное выше «вопнет» об обратном — что он был его предтечей; о нем, наконец, говорят, что его проза слишком красива, что проза и поэзия — разные вещи, и нельзя их путать.

Но на это можно ответить только, что поэтичность прозы, радужность ее, что музыкальный принцип в прозе не может противоречить принципам прозы постольку, поскольку он не противоречит и общим художественным принципам искусства как искусства; что музыкальное, стихийное, а не информационно-деловитое, отношение к слову было свойственно не только Марлинскому, но и, прежде всего, Гоголю (особенно «страшному», более раннему, но и позднему тоже), и Достоевскому, и (во многих отношениях) Толстому, и Бунину — если уж нужны авторитеты, выглядящие более солидно, чем сам Марлинский; что романтический стиль, вторым планом или же органически вплавленный в реализм, прошел через наш XIX век — и пришел в XX век, породив раннего Горького и такую колоссально-цельную фигуру нового романтизма, как Блок.

Не думаю, чтобы автору «Розы и Креста» был плохо ведом автор «Замка Эйзена», «Ревельского турнира» и прочего; да что там — это ясно само собой. Кстати, в «Мореходе Никитине» есть характеристика XIX века, весьма похожая на блоковскую в «Возмездии»...

Я уж не говорю о «Мастере и Маргарите» Булгакова и подобном: прочтите то же «Страшное гадание» и вы поймете еще раз, что все в этом мире не на пустом месте.

Главное в Марлинском — это, конечно, не только общий пафос и стиль романтизма; это — благородный, деятельный герой, трогательно и «наивно» спасающий гибнущую невинность и выдающийся высокое мужество там, где все уже не могут его выдаывать; это высокий разум и сердце, не боящиеся усмешки над жизнью и в то же время неизменно устремленные к возвышенному; это могучий жизненный порыв, одолевающий смерть и стихию.

Бестужев мало говорил о себе, как таковом, но любил свое поколение и не скрывал, что ставит его выше последующих: он ценил действенность духа, мужество, молодость души, нравствен-

ный порыв, единый с поступком,— все, чего не находил в тех людях, каковым он считал Онегина; и перечисленные черты были в высшей степени присущи любимым его героям, будь то новгородец Роман или кавказец Мулла-Нур, и пронизывают всю атмосферу его произведений.

Все это не могло не волновать великих писателей; отсюда «реминисценции»: дело, как водится, не в самом стиле...

Трагическая тень Марлинского всегда смутно виднелась на заднем плане нашей литературы, как некий укор и напоминание нам, как какая-нибудь тень рыцаря в его собственной повести; великий Белинский был прав — он не мог иначе, ему нельзя было иначе; но и Александр Бестужев — он есть, он жив: история культуры, к счастью, не заменяет одного явления другим; они «сосуществуют», остановленные и оживленные временем; да, Бестужев-Марлинский погиб в бою за мыс Адлер <1837> — и тело его не было найдено, его, вероятно, унесли в горы; это, конечно, породило легенды: Кавказ всегда готов к этому; говорят, дух Марлинского — дух высокого романтизма! — бродит в горах — изредка спускается и на равнины...

Мы не верим в легенды; но литература наша, в ее нынешних напряженных духовных, художественных поисках, должна все помнить — помнить все, что способствовало ее славе; может, «для того» и не был найден Марлинский, чтоб, за делом и трезвостью, наша литература не забывала о чем-то высоком, не конечном, беспокойном...

Подлинное имя Александра Бестужева не могло быть упомянуто в 30-е николаевские годы; да, он был одинок при своей славе; он порой даже и не знал, печатается ли его очередная рукопись; гении взяли его, прочли — и пошли дальше, не оглядываясь и не говоря спасибо; но мы-то, примериваясь и прикидывая в своих нынешних поисках, должны вспомнить и его — его, смутного, его, героического, его, забытого, его, порой беззащитного и наивного — порой гениально-интуитивного, прозревающего, чего даже и весь XIX век все-таки не мог прозреть.

Да, конечно, бывают несправедливости, в которых виноваты цари николаи; но Бестужев знал, на что шел, когда вел Московский полк на Сенатскую площадь; да, бывают несправедливости, за которые вроде бы некого и винить; но мы, потомки, ответственные за всю родную культуру — и, перефразируя зарубежного писателя, известного жестокостью своих формул, можно сказать: если хоть кто-то крупный забыт, хоть что-то существенное похоронено в анналах старой истории — не спрашивай, деятель культуры, по ком звонит колокол: он звонит по тебе.

Вл. Гусев



## РОМАН И ОЛЬГА

*Старинная повесть*<sup>1</sup>

### I

Зачем, зачем вы разорвали  
Союз сердец?  
«Вам розно быть! — вы им сказали. —  
Всему конец!»  
Что пользы в платье золотое  
Себя рядить?  
Богатство на земле прямое  
Одно — любить!

*Жуковский*

— Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский, брату своему. — Не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках воен-

<sup>1</sup> Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, для проверки,

ных<sup>1</sup> и на все смышлен, ко всем приветлив... Одна беда,— примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе,— он беден, стало быть, не видать ему за собою Ольги.

— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостинный, сотник конца Славенского.— Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной?

— Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери?

— Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принёс в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новгорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!

— Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь за человека, у которого нет тридцати снопов для брачной постели<sup>2</sup>, у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе.

— Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердислава<sup>3</sup>.

— Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и

---

могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского» Карамзина, «Разговоры о древностях Новгорода» преосвященного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского. (Примеч. автора.)

<sup>1</sup> Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том «Ист. гос. Росс.» Карамзина, примеч. 251. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Брак сопровождается был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под венцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подруги молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на тридцати девяти снопах разного жита, и один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенинника. (Примеч. автора.)

<sup>3</sup> Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 3, стр. 172. (Примеч. автора.)

своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым!

— Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...

— Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.

— Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь!

— Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романа, а ему — ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новгорода.

— Если б не торговые выгоды! — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.

— Да, да, если б не торговые выгоды! — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. — Выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским, а мою дочь — богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.

— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не избрет другого, если ты не выберешь ей избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счета, но худо — страсти людские. Ольга может в твою угодку скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!..

Слово совет пробудило гордость Симеонову.

— Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостью чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия. — Старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя — за помин о старшинстве. Один глядел в косящее окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака; оба искали слов к разговору и не находили.

Наконец нетерпеливый Юрий решил избавиться себя и брата от затруднения уходом.

— Прощай, братец! — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку.

— С богом, Юрий! Но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.

— Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...

— Вольному воля! — повторил раза два Симеон, прощая брата.

Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противоположность на вече, где Роман сильно опровергал его мнение. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого; судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды.

«Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно, выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного; он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою, но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы; Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье; наконец природа взяла верх: в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росой отрады.

## II

Уста раскрыв, без слез рыдая,  
Сидела дева молодая;  
Туманный, неподвижный взор  
Безмолвный выражал укор.

*А. Пушкин*

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу няnek и сенных деvушек, сидела она за пядьцами, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку и, когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты ей казалось как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шнты с бахромою перчатки за кушак шамаханский, и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев, на

поморье и на подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами, по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богородицы<sup>1</sup>. С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозного величия бича вселенной — Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекали внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смывки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину, от берегов Черного моря.

Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские; но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тай-

---

<sup>1</sup> Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную. «Ист. гос. Росс.», том 5. (Примеч. автора.)

ных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытьи, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проникали сердце. «Неужель все то правда, что поется в песнях?» — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей. «О, конечно! — отвечала няня. — В сказке — басня, а в песне — *быль*».

И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и — неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: «Люблю, люблю Романа!» Ты спознала, непреклонная красавица, грусть и сладкие вздохи, и неясные желанья, и, в награду бессонницы, сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещения, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!..

Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня<sup>1</sup>. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то прыгнул с него; еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.

— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку — Выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.

Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: «Беги!», сердце шептало «Останься!» «Что скажут добрые люди?» — повторял разум. «Что станет с милым, когда ты скроешься?» — замечало сердце. Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.

— Ольга, — сказал тогда Роман, — я принес весть радостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи, бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих — счастье. Решайся!

---

<sup>1</sup> Рюэнь — сентябрь. (Примеч. автора.)

Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты, любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость наиск, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускло зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.

— Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая. — И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! Совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет, отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя самого.

Слёзы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам деви.

— Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою, — и вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностью! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковёрных! Любовь ваша — одна прихоть, болтлива и летуча как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным *нет* оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и все, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? Не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом все у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилостивого супружества, — немилостивого, говорю я?.. Но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежнее!.. И может статься, если переживу я свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке

скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе.

— Неблагодарный друг! — говорила красавица. — И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. А теперь!

— Прости, прости меня, бесценная!.. — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение.

— Жить и умереть с тобою! — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым.

Души пылкие! вам они понятны: вы извели сии волшебные мгновения, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагословит побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься, дождемся благословения отеческого.

Роковое *да!* излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

### III

Они в ручной вступили бой,  
Грудь с грудью и рука с рукой.  
От вопля их дубравы воют,  
Они стопами землю роют.

*Дмитриев*

Наступил день праздника.

Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане

в церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников, литовцев, земляков россияни. Владыко благословляет яствы, гремит труба, и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством; благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой.

Протекли с того дня три века; изменились князья Новгорода; зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую.

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу.

— Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн, и все господа рыцари немецкие и все ясные паны Литвы! — говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенки русских; певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших.

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь, — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери, этого довольно — меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, куда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал, потому что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился

к Новугороду и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу; так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения; он был счастлив!

— К играм, к играм! — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную.

Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике; они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, страусовыми перьями. Забрало опущено, черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружных садов, вьет пыль и окровавленную шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжело вооружение, и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита<sup>1</sup>; кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот рассказали противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, удар! — и копыта в осколках, и кони, сгрянувшись, поверглись наземь; рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы.

— Прекрасны ваши брони, — говорили, поднимая их, новгородцы, — но для нас несручны: русский не согла-

---

<sup>1</sup> Военно-торговое общество братьев *шварценгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию (*Примеч. автора.*)

сится сидеть, будто в засаде, в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!

Литовские пятигорцы<sup>1</sup> на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое; легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы<sup>2</sup> надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копья, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув поводья на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы<sup>3</sup> и, как перуном, разят перелетных ласточек и двигают народ своим проворством.

— Удалы наездники! — говорят про них меж собою новгородцы. — А не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удалцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правую: вот удар — и великан Айфал сгорел от руки

---

<sup>1</sup> Пятигорцы — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. *Opis starozytny Polski przez T. Swieckiego*. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Прильбица — шлем, а иногда наличник (*visiér*). (Примеч. автора.)

<sup>3</sup> Самопалы — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже. (Примеч. автора.)

Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов, удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечаевого колокола; изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, — послы князей Василия Димитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как дозволите вы явиться им перед собою?

— Теперь, сейчас! — воскликнули тысячи. — Допускаем их поклониться святой Софии и по старине справиться свое посольство.

Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

— «Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже- и Новгородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы, — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое; желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев; требуем того же от Новагорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на средину и громко вещал:

— «Новгородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете

моих беглых мятежников<sup>1</sup>. Так ли поступают союзники? Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги? Новгородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пушу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!»

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников<sup>2</sup> проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Завережский, муж правдивый, но миролюбный, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту оною, и обидность угроз, и высокомерие княжее; но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение — избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без

---

<sup>1</sup> Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе Смоленском (который, видя свое владение, изменою захваченное, Смоленск, сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и Литовском князе Патрикни, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление приневские области. — (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники — *старшими*. Каждый *конец*, или часть города, имея своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житыми людьми*. В боярское достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, то есть обществом; но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинаковыми правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую расправу — в думе. (Примеч. автора.)

соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не все: немцы — приятели нам только в гостинном дворе и злодеи в поле; набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою; за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села, и монастыри, и запольские<sup>1</sup> посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов; теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?

— Правда, правда! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?

Тогда, князя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова.

— Говори! — зашумели все.

Роман говорил:

— Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно было, когда послы князей винили и страшали нас посвоему; дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями, — ужели будем играть душою, чтобы угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочь? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше? Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «пустой мех стоять не может!»

---

<sup>1</sup> Запольские — загородные. (Примеч. автора.)

Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть нелегко; в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единодушия; Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен, — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? Разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братьев своих<sup>1</sup>, или нет в Новгороде сердец новгородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстанут тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород; за нас наша мать, святая София!

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

#### IV

Ах ты, душечка, красна девица,  
Не сиди в ночь до бела света,  
Ты не жги свечи воску ярого,  
Ты не жди к себе друга милого!

*Народная песня*

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев; сон смежил очи заботы. Покойно все на берегах Волхова; только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девичье-

---

<sup>1</sup> Первая торговая и смертная казнь была при Дмитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом семьдесят человек, терзали на площади московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». «Ист. гос. Росс.» Ка-рамзина, том 5, стр. 135. (Примеч. автора.)

ское, высоко воздымается грудь твоя; ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные фереzi, прочитала молитву вечернюю, sprыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правую ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки? Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и стать. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами, забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко вливается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи?

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волнение беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и наконец решается встать с постели; долго ищет ножкою по холодному полу туфлей сафьянных, — каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бречанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостинный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. Прости, в последний раз, все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители! Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь

ты покой, дочь послушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отягощает над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истaeшь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлою мыслию. «Нет! не огорчу, не обесславлю побегом родителей! — сказала она с благородною твердостью. — Роман ослеплен любовью, но он меня слушает, — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим.

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

## V

Под звездным небом терем мой,  
И первый друг мне — мрак ночной,  
И мой второй товарищ ратный —  
Неумолный нож булатный;  
Товарищ третий — верный конь,  
Со мною в воду и в огонь;  
Мои гонцы неподкупные —  
Летуньи стрелы каленные.

*Старинная песня*

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашия трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремяна. Протяжный звон службы всенощной раздался с севой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оногo, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что,

выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице дево, радуйся», и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными.

«Мучительно оставить милую,— мыслил Роман,— когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски; но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного; да будет воля его святая!»

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает,— то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков, на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову, по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешкамн. Рассуждать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прят ушами, храпел, робко ступал, но все было тихо; Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью! — загремел неведомый голос, и пять удалцов, выскочив из-за обрушенных пней, из-под моста, заступили ему дорогу.

— Прочь, бездельники! — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покатился от сабельного удара.

— Режьте его! — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от на-

ступающих; пробиться и ускокать была его единственная надежда; но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова; он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту, и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало.

Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их бранных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой, с свистком в руке; атаман, с завязанною головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту; вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался.

«Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вине, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего; наконец со страхом схватился за грудь... На ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей.

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Поеслушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности; мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай: великий князь грозит на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избежать; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят столничать добром народа; собирают татарской рукою двойные подати, продают правду; обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем не знаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонить на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедли-

вость требований, неверность счастья в битве, силу Новгорода и упорство новгородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных,— с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому, святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману, кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы,— все напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романа, мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженым опереньем стрелы.

— Здравствуй, земляк! — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос.

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем,— и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст.

— Понимаю! — возразил, усмехаясь, атаман.— Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой; не дивись этому: гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободришь, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.

С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.

— Благодарю! — отвечал Роман.— Я еще не пью питья хмельного; оно для меня как яд.

— Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши. — Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одинадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливанное море, но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров; ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскою на берега Волги, нечестным копьем добывать золота<sup>1</sup>. Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам; добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое избежали побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост волховский, разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внуки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорбленное сердце; как лютый зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея, — и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва

---

<sup>1</sup> Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в ладьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих. (*Примеч. автора.*)

вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца,—он не может забыть ни былого, ни вечного будущего!

Роман прослезился, вникая раздирающему голосу преступника.

— Счастливцев ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом.

Он закрыл лицо руками.

В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса.

Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался с гостем.

— Вот твои письма, — говорил он, — и твое золото; оно невредимо. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропой из чащи в сопровождении одного из разбойников.

## VI

Ты без союзников.

— Мой меч союзник мне  
И сограждан любовь к отеческой стране.

*Озеров*

Три дни ждали ответа послы княжне; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; все кипело, шумело и волиновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны, посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! по своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им.

Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

— «Великому князю Василию Дмитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! у нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир». Только! — примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину. — Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новгорода.

Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу.

— Новгородцы! — сказал он. — Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?

— Хотим дружбы со всеми соседями, — воскликнули тысячи голосов, — но, имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов!

— Война, война! — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь, — и гибель области Новгородской!

— Пусть Витовт творит что хочет; мы сделаем что должны! — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим:

— Новгородцы! Еще есть время одуматься; еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новгороду!

Упреки Путного раздражили народ; ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал:

— Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя: Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей повожских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча, а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой; для

чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?

— Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы сто-рицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом<sup>1</sup>

— Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все. — Но у нас не найдется, как в Нижнем, другого пре-дателя Румянца<sup>1</sup>. Мы станем за свою правду, за свою старину, — а кто против бога и Великого Новгорода!

Московский посол удалился при буйных кликах на-рода.

## VII

Где вы, отважные толпы богатырей,  
Вы, дикие сыны и брани и свободы?  
Возникшие в снегах, средь ужасов  
природы,  
Средь копий, средь мечей?

Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро оста-лись за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустыни; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленом коне. Между полуразрушенными дерев-нями, разбросанными по два, по три двора, между за-глохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви; расчетливые моголы не смели касаться свя-тынь, сего последнего убежища угнетенного ими наро-да, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружье — терпенье, одну надежду — молитву. Раз-вращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным; в дымных, покрытых соломой хижи-нах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное добро пожаловать встречало его у порога. Хозяева уго-щали проезжего чем бог послал и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Ро-ман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею рай-

<sup>1</sup> Румянец, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Ва-силия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего по-следнего. (Примеч. автора.)

ской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи».

На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золотоверхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. А теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за них запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своею мыслию, узнал мысли великого князя; они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны; но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя; товары их не были разграблены. Новгородцы радовались, Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча; Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного... Вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, брэнчанье оружия, чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клепят рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан, позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман все еще глотал ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новгороде, и отступил от изумления.

— Тебя ли, Роман, вижу я? — воскликнул он. — Когда и как ты сюда попался?

Роман рассказал, что его схватили, как врага Москвы.

— Сожалею о твоей участи, — молвил Сыта, — но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, — однако ж не иначе, как с условием остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! Я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь не то; даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которую не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, — продолжал он, протягивая руку, — не правда ли, старый знакомец?

— Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием. — Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новгорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом! Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее.

— Ты получишь ее, упрямая голова! — с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью.

С гордою, утешительною мыслию — умереть за любовь и отечество, ждал Роман неминуемой смерти.

## VIII

Как мне слушать пересудов всех людских!  
Сердце любит, не спросясь людей чужих;  
Сердце любит, не спросясь меня самой.

*Мерзляков*

Быстро текут слова повести; не скоро делается дело. Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою.

Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене: уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; все оживает, все радуется,— одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями; она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу.

С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить,— говорила с собою невинная,— потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот недостойн взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого — когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, умереть на его могиле».

Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угодую, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.

— Ольга! полно горевать, полно упрячиться! — не раз говорил ей Симеон. — Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуя отца на старости, ступай замуж, дитя мнлое, чтобы не угасла поминная свеча по мне, безродном! Выбирай... женихов именитых много!.. — И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован, выходил Симеон из девичьего терема.

«Это пройдет!» — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями, сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы сзвали вече.

— Князь идет на нас; что делать? — спросили савновники.

— Предложить мир и готовиться к битве! — воскликнули все единогласно.

— Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха; Василий принял их, но не хотел слушать.

— Да будет! — сказали тогда оскорбленные новгородцы. — На начинающего бог!

Обнялись как братья и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятину, вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.

— Прощай, Ольга! — сказал Воеслав решительно. — Я еду на службу Новагорода; чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться, мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Волотом; он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, очень богат! — примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравится мне — и тебе полюбится. Готовься!

Отчаяние помрачило взор Ольги; она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка! какая участь ждет тебя?

## IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад.

*Русская пословица*

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец, жаворонок! Как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в

поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти. Слечай, жаворонк, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка.

Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины.

— Спишь или нет, товарищ? — шепотом спросили Романа.

Роман отозвался, и на вопрос «кто там?» отвечали:

— В этот раз добрые люди.

— Зачем?

— Спасти тебя от плахи.

— А эта цепь, эта решетка?

— Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы.

И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удалыца разбили его рогатки; по веревке перелезли они чрез монастырскую стену, — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу; загадка Романова разгадалась.

— Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстатн; говорю кстати, потому что через три дни (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка; куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород или биться к Орлецу?

— Туда, где мечи и враги! — воскликнул пылкий юноша. Они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников-двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копыям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу; никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры. Пленный обратил речь к десятнику:

— Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете?

Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух и замолчал.

— Неужто вы, москвичи, только умеете такать? — продолжал пленник.

— Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы.

— Что же там со мной сделают?

— Что сделают? Отправят на покой! — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву П на воздухе.

Ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом.

— Беркут! — сказал Роман атаману, — спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все.

Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком «Сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника: самые храбрейшие разбежались, другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал плененного и узнал в нем Симеона.

— Добрый, великодушный юноша! — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи; поспешим!

Роман, с радости о битве и невесте, перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачком и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем.

— У этого копья еще не выросло ратовье! — отвечали с насмешкою москвитяне. — Впрочем, милости просим: мы готовы мечом охристосоваться с дорогими гостями.

— Вперед! — воскликнули воеводы, и ливнем прыгнули стрелы.

Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы<sup>1</sup>. В это мгновение приспели наши путники.

— Други! — сказал Беркут разбойникам, — мы долго жили чужбной без чести — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!

Он указал на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна; русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель,

<sup>1</sup> Стрикусы, пороки — стенобитные орудия, род таранов (bélier). (Примеч. автора.)

явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою, но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступление, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

## Х

Отворяйся, божий храм!  
Вы летите к небесам,  
Верные обеты!  
Собирайтесь, стар и млад,  
Сдвинув звонки чашн, в лад  
Пойте «Многи леты»!

*Жуковский*

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о гибели первейших воинов, о приближении войска княжего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице; топот ближе и ближе, пронеслись мимо сада, ворота заскрипели, и два всадника въехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу<sup>1</sup>.

— Это батюшка, батюшка!

Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сениям, и Ольга бросилась в объятия отеческие.

— Тише, тише! — говорил Симеон ласково. — Ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы побережь для твоего жениха!

Это приветствие как громом поразило Ольгу.

— Милый батюшка, — говорила она, рыдая, — не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества, я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.

---

<sup>1</sup> На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое. (*Примеч. автора.*)

— Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса — и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.

— Нет, никогда, ни за что!

— Эй, дочь, не ручайся за свое сердце, — да вот, кстати, и жених; он поможет развеселить несговорчивую!

Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы украдкой взглянула она на приезжего.

Перед нею стоял Роман Ясенский.

— Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слышали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой, с тем большим весельем; что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!» «Как мила невеста!» — шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «брат и друг! не прав ли я в выборе?» — и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «так, я *был* виноват!»





## ЗАМОК НЕЙГАУЗЕН

*Рыцарская повесть*<sup>1</sup>

ПОСВЯЩЕНА Д. В. ДАВЫДОВУ

### I

Летний день западал, и прощальные лучи солнца бросали уже волнистые тени на круглые стены замка Нейгаузена. Туман подернул поверхность речки, обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни, и она, гремя, бежала вдаль серебrouchейною змейкою. Ворота замка были отворены, и сквозь них, среди широкого двора, виделись терема рыцарские. Остроконечные их кровли пестрели разноцветною черепицею; все углы обозначались стрелками, и на многих висели башенки. Неровной величины окна, с чудными изображениями, были разбросаны в стенах без всякого порядка, и контрафорсы, упираясь широкою пятою в

---

<sup>1</sup> Эпоху своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Рнги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоана II; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sönebrief), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанны раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были пронзвести в партни рижской желанне обессилить врагов потаенными средствами. (Примеч. автора.)

землю, поддерживали громаду здания. Казалось, оно не было древним; но молодой мох лепился уже по стенам, из неровного плитняка сложенным, и местами зеленил мрачную их наружность. Двухъярусные переходы вокруг бойниц амфитеатром замыкали окружность, и на них грудями лежали камни, бревна, станки для огромных самострелов, тяжелые топоры, даже стенные пищали, тогда весьма редкие и столь же опасные своим, как врагам; словом, все доказывало близость опасного соседа и возможность внезапной осады. Часовые в щипаках, однако ж без лат бродили по гребню, и в замке было так тихо, что слышалось пенье кузнечика. Направо от ворот щипал мураву статный конь; влево тянулись полосатые гряды огорода. Между ими, опершись на заступ, стоял садовник Конрад и с высоты любовался на закат солнца. Он не заметил, когда подошел к нему рыцарь в бархатной, сереброшвейной мантии и в песьма коротком полукафтанье малинового цвета. Лицо его было нахмурено, и руки, сложенные на груди, закрывали до половины осьмиконечный мальтийский крест. Тщательно завитые волосы и вообще щеголеватость в одежде показывали, что он чужеземец, ибо тогда ливонские рыцари не пышно рядились.

— Пусть крапива забьет твои гряды! — сказал он мимоходом Конраду, и Конрад, почтительно бросив свою шапку на землю, отвечал:

— Благодарю за желание, благородный рыцарь; но у меня и без того плохо идет работа. Здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород...

— Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о приволье мышам?

— Преумно и премилостиво, благородный рыцарь. Но вы, кажется, рассержены; смею ли я, старый слуга ваш, спросить о причине?

— Бесстрастное творенье! разве не понимаешь ты, что неожиданный возврат барона разрушает все мои надежды: теперь Эмма станет еще неприступнее. Впрочем, я на все решился, Конрад! Меняй свой заступ опять на кинжал, поедem лучше галерою бороздить море. Право, доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие огурцы.

— Я всегда в вашей воле, рыцарь!

— Если б ты к моей воле прилагал и свою, — эта

честолюбивая женщина не ускользнула бы из рук моих!

— Пусть каждый шиллинг, от вас полученный, прожжет мой карман, если я даром брал награды. Всякий раз, когда госпожа приходила сюда учиться заморскому садоводству, я издали заводил речь о вашей славе, о вашем богатстве, потом о вашей красоте... Потом намекал о вашей любви, о вашей страсти, рыцарь! Вы сами знаете, что есть вещи, о которых молчать невыгодно, а самому их высказать нельзя... и эти-то вещи были все рассказаны мною,— похвалы сыпались у меня, как чечевица.

— И просыпались мимо. Нет, ты не умел, Конрад, посеять в ее сердце ко мне соучастия и взаимности.

— Благородный рыцарь! любовь растет скоро, как кресс-салат, но она все-таки не огородный овощ. Ее зародить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впрочем — терпение!

— Терпение — добродетель верблюдов, а не людей.

— Может быть, не таких, как вы, благородный рыцарь; но вы сами видите, как наш русский пленник Всеслав своею терпеливостью отбивает у поспешных прекрасную Эмму. Ну, право, на него глядя, можно подумать, что он вырос в школе странствующих миннезингеров: только и дела, что вздыхает,— а между тем баронесса поглядывает на него очень умильно.

— Проклятый утешитель! Ты раздираешь мне сердце намеками, которые давно мне кажутся истиною. Любовь палит меня, но еще более ревность грызет душу. Так, я уже решился на все. Я хочу, я жажду удалить и мужа и этого воздыхателя-новгородца, чтобы самому сблизиться с нею. Ты знаешь, Конрад, что я говорю не с ветра и не на ветер; теперь требую твоего совета.

— Мое мнение, рыцарь, начать с гостя; то есть наекнуть барону о склонности его супруги к Всеславу — и русский соперник ваш уберется восвояси.

— Ты прав, Конрад; ты стонешь золотой петли за эту богатую выдумку. Так, я неприметно волю в его чувства отраву, которая льется в моих жилах; передам ему все затейливые подозрения ревности и с ним разделю ненависть к общему сопернику, а потом найдем средство удалить и ненавистного супруга. О! Я уже предвкушаю торжество мое: мои арабские бегуны умчат нас за тридевять земель. Для Эммы сброшу я эту коман-

дорскую мантию, забуду почести Ордена и славу света, чтобы в забытом углу его найти с нею счастье!..

— Скорее ваш меч разрастется в ножнах, нежели Эмма согласится бежать...

— Но скорее рука моя будет вращать веретено вместо копья, чем я откажусь от своего намерения. Для моей воли нет завета, ни препон — кроме гибели. Пусть Эмма добродетельна, верна, — но ведь она женщина; она прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, Конрад, я истощу весь арсенал обольщений: буду нежен как дамская перчатка, гибок как страусовое перо; стану звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, и волею или неволею, но Эмма будет в моих объятиях — или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же до самого барона...

Конрад прервал его запальчивость, показав на часового, который приближался к ним по зубчатой стене. Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его сверкающим взорам видно было, что дело шло о чем-то важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два злодея расстались.

## II

Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя большими свечами из желтого воска, воткнутыми в двурогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, проникающего в неровный свинцовый переплет готических окон, но блеск не достигал под вершину острокопечных сводов, зачерненных дыханием времени, и только изредка отсвечивались по стенам щиты и кирасы и двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравлеными украшениями, стояли друг против друга. Дебелый дубовый стол занимал средину комнаты. За ним сидел рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою по доске... Игра была не кончена, стаканы опрокинуты, и владетель замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми шагами по зале. По неровному звуку его шпор, по волнению в груди заметно было, что он вне себя; его лицо пылало гневом, и кровавые глаза разбежались.

— Да, да, — вскричал он, остановившись против Мея, — теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был игрушкою жены своей. И я был так прост, что доверился этому русскому варвару, оставил волка в овчарне.

Теперь не дивлюсь, что жена моя... что Эмма, хотел я сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жаловала его песни и разговоры. Теперь понятно мне, отчего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, отчего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лицемерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для нее все обычаи предков и все толки дворян — извел ее из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал владетельницей Нейгаузена; но что более всего: не я ли любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пятно положила ты на славное имя Нордеков! Что сказал бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют живых!

— Думаю,— сказал Мей двусмысленным голосом и пожимая плечами,— он сказал бы то же самое, что и я повторяю: что люди завистливы и, статья может, слухи об этой связи — пустые.

— Нет, друг Ромуальд, не утешай меня, как ребенка; я знаю, что подобные вести позже всех доходят до ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты, чужеземец, их знаешь...

Ромуальд встал, чтобы скрыть волнение души, и как будто нечаянно подошел к окну.

— Они еще не едут с охоты,— сказал он притворно равнодушным голосом.

— Не едут — и, поверь мне, еще долго не будут,— отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бесстрастия.— Они не ждут меня из похода, а часы летят для них так скоро, что они и не думают о возврате... Или,— что я говорю,— может, они нарочно ждут вечера... Лес широк, тропинки излучисты... Мудрено ли заблудиться!

— Какие черные мысли, Эвальд; разве не могло, в самом деле, случиться, что их соколы разлетелись.

— Я скличу их завтра на тело Всеслава!

— Едут, едут! — раздалось по замку.

Топот коней и восклицания охотников огласили округность; оконницы, дребезжа, отозвались на звук вестового рога с башни, и сердце барона оледенело... Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. Кто-то бежал по лестнице, дверь скрипнула, Эвальд вскочил; яростным взором встретил он входящего, — и напрасно: это был паж баронессы.

— Скажи госпоже твоей,— крикнул он,— чтобы она дожидалась меня в своих покоях, но чтобы она не входила сюда... Это моя воля, мое приказание; слышишь ли: мое приказание!

Изумленный паж удалился с трепетом,— и опять мертвая тишина в зале. Ромуальд молчал; Нордек не мог говорить. Наконец с шумом вбежал Всеслав в комнату. На нем был красный кафтан, на полах вышитый золотом. За кушаком татарский кинжал, на руке шелковая плетка, и красные каблуки его сапогов пестрели разноцветною строчкою; яхонтовая запонка и жемчужная пронизь на косом воротнике доказывали, что Всеслав не простого происхождения; но смелая, развязная поступь, открытое лицо и быстрые взоры еще более заверяли в его благородстве. С радостным челом, с дружеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд яростно оттолкнул его.

— Прочь, изменник! — воскликнул он.— Прочь! Непятнай меня своим иудиним лобзаньем...

— Что это значит, Эвальд? — произнес Всеслав, пораженный видом и выраженьем барона.

— Ты слишком хорошо знаешь, об чем говорю я; но притворство ни к чему не послужит... Признайся!

— Ты потерял рассудок, Эвальд!

— О, как бы желал я потерять его, но, к несчастью, он теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, чем ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал на мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил как с братом, а ты обольститель, ты с другом поступил будто со злейшим неприятелем.

Лицо Всеслава загорелось негодованием.

— Эвальд! — вскричал он,— не для того ли ты возвратил мне жизнь, чтоб отнять честь? не для того ль почтил пленника гостеприимством, чтобы сильнее оскорбить гостя клеветою?

— Это правда, это ужасная правда! И... не заставь меня употребить силу... Если ты в ней не сознаешься, то, богом клянусь, Всеслав, тем богом, которого ты забыл,— волки и вороны будут праздновать мой гнев твоим трупом.

Всеслав, внимая этим угрозам, гордо сел в кресла и спокойным голосом отвечал:

— Рыцарь фон Нордек, я пленник твой; делай что хочешь. Но ты видел под Вейзенштейном, когда рубил-

ся я с твоими латниками, пугала ли меня смерть! Уже ли думаешь теперь застрашать ею? Повесть, Эвальд, мне легче будет умирать безвинному, чем тебе жить после злодейства. Впервые вижу я такое утончение злобы: зачем было не умертвить меня на поле битвы, чтобы здесь выхолить на убой!

— Затем, что ты был тогда лишь неприятелем Ордена, а теперь стал моим личным врагом, моим кровавым злодеем, похитив любовь легковерной Эммы!

— Рыцарь! Именем чести и доброй славы невинной супруги твоей требую доказательств!

— Невинной?.. Давно ли волки проповедуют невинность лисиц? Давно ли русские говорят о чести?

— Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее пишете на гербах, а мы храним в сердце.

— В твоём черном сердце — не бывало искры других чувств, кроме неблагодарности, обмана и обольщения!

— Слушай, рыцарь, — вскричал Всеслав, вскакинув, — низко и в поле ругаться над безоружным, но еще ниже обижать в своём доме. Я бы умел тебе заплатить за обиду, если бы моя свобода и сабля были со мною!

— Ты будешь иметь их на свою пагубу, — отвечал в бешенстве Эвальд, — и суд божий поразит вероломца!

— Когда ж и где мы увидимся? — спросил Всеслав.

— Как можно скорее и как можно ближе. Я удостоиваю тебя поединка, чтобы иметь забаву самому излить твою кровь и ею смыть пятно со щита моих предков. Оружие зависит от твоего выбора. Я готов драться пеший и конный, с мечом и с копьем, в латах или без оных. Бросаю тебе перчатку не на жизнь, а на смерть.

Всеслав хладнокровно поднял перчатку.

— Итак, на рассвете, — сказал он, — с мечами, пешие и без лат. У меня нет товарища, а потому и Нордека прошу не брать свидетелей. Место назначаю отсюда в полумиле, по дороге к Веро, под большим дубом. Там я жду обидчика для свиданья, чтобы сказать ему вечное прощанье.

— Но куда ж спешите вы, благородный русский? — спросил Мей с тайною радостью, подозревая, что Всеслав собирается скрыться.

— Куда глаза глядят, — отвечал Всеслав, снимая со стены свою саблю и шлем, висевшие в числе трофеев. — Чистая совесть постелет мне ложе в лесу дремучем, и

мне не будет там душно, как в этом замке, где меня берегли, чтобы чувствительнее обидеть.

Он вышел из замка, со вздохом взглянул на окно Эммы и побрел в темноте по сыпучему песку.

### III

Светло и радостно встало утро над замком, но в замке все было угрюмо и печально. Старик Отто, отец Эвальда, в беличьем полукафтаны, сидел в своей комнате у окна; подле него лежала Библия, но он уже не мог читать ее, он с беспокойством глядел в поле сквозь цветные стекла. Эмма, заливаясь слезами, молилась перед распятием, и бледное лицо ее и белокурые волосы, разметанные по плечам, ярко отделялись от черного камлотового, опущенного горностаями платья, которое длинными складками упало на пол.

— Не плачь, не крушись, моя милая, добрая Эмма,— с нежностью сказал старый барон; но голос его доказывал, как трудно было исполнять ему совет свой.— Прости моему Эвальду и надейся на всевышнего, может, все кончится счастливо. Злые наветы заставили моего вспылчивого сына обидеть безвинного человека... Но ведь не каждая рана смертельна,— а, по-моему, лучше носить язву на теле, чем убийство на совести. Солнце уже высоко, и он, верно, скоро воротится. Рыцарь Мей с капелланом давно поехали на место поединка узнать, чем он кончился... Но вот пылят по дороге...

Сердце в Эмме забилося часто и сильно, голова кружилась, дыхание занялось в груди... Она не смела ни взглянуть в окно, ни услышать, может быть, радостной, может быть, смертельной вести.

— Это они, это точно они,— воскликнул Отто.— Уже я распознаю жеребца Ромуальдова, вот и капеллан... вот и пегий бегун Эвальда... но... боже мой!.. он убит!

— Кто убит, батюшка? кто?

— Он, Эвальд! Эмма! у тебя нет более супруга. Бедный Отто! у тебя нет уже сына. Он, единственный мой Эвальд, убит, убит.

С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. Взоры ее померкли, голос замер, и голова скатилась на грудь. Это зрелище представилось Ромуальду и Всеславу, когда они, запыленные, вошли в комнату.

— Где, где он? — вскричала Эмма, которой приход их возвратил жизнь. — Отдайте мне моего Эвальда!

— Его нет, — сурово отвечал Мей.

— Рыцарь, не обманывайте меня... Впервые прошу вас, Ромуальд, скажите мне всю правду. Где муж мой?

— Я не лгу, баронесса, он пропал без вести.

— Скажите лучше — без возврата.

Рыдания Эммы раздули искру жизни в старом Отто, и тот же вопрос был повторен Мею.

— Мы искали его везде, — отвечал Мей, — обскакали кругом на мило, перешарили все кустарники, — и следу нет. Вероятно, разбойники или наездники русские, — примолвил он, взглянув подозрительно на Всеслава, — схватили и увезли его за свой рубеж.

Казалось, внезапный луч осветил мысли Эммы. Все и все обвиняло Всеслава. В самом деле, для чего избрал он такой уединенный час поединка и место на границе русской? Для чего желал видеть противника без лат, без свидетелей? О, это верно, это несомненно. Удар наемного кинжала есть скорейшее средство избавиться сильного неприятеля. Эмма как помешанная бросилась к Всеславу, который, опершись на окно, с глубокой тоской смотрел на нее.

— Кровавийца, — вскричала она, — разве недоволен ты, лишив меня доверия и любви моего супруга, когда теперь потаенно убил его? Признайся в своем злодействе. Отвечай, где совершил ты преступление? Куда бросил его тело? Скажи, чья кровь дымит на руках твоих?..

Эмма не могла продолжать.

— Эмма, Эмма! — с укором возразил до глубины души огорченный Всеслав, — и ты могла подумать, что я способен на такое низкое дело! Неужели все, кого так искренно любил я, кого так беспредельно уважал, сговорились подозревать, обвинять меня в гнуснейшем вероломстве и преступлении, едва вероятном для самых закоснелых злодеев!

Слезы навернулись на глазах Всеслава. Все умолкли, наблюдая друг друга. Какое-то злобно-радостное чувство просвечивало сквозь угрюмую физиономию Мея, но его взор выражал то сожаление к Эмме, то ненависть к обвиненному. Отто отирал серебряными волосами глаза свои, но ни одна слеза не выкатилась, чтобы облегчить растерзанное сердце отеческое. С живым участием, но с мучительною тоскою обвиненного человека, который

жаждет и не может утешить своих обвинителей, боясь упрека в ласкательстве, стоял Всеслав между ими, но его взгляд был горд и покоен. Эмма в забытии, с бродящими окрест взорами, опиралась на плечо Отто. Все беды, все горести слились для нее в одно тяжкое ощущение, в чувство хладного и немого отчаяния. Картина была ужасна.

Молчание прервано было криком Сигфрида, щитоносца Эвальдова.

— Беда, беда... — вопиял он, вбегая в залу. — Горе и смерть нашему бедному господину; он схвачен тайным судом; вассалы видели, как утром провезли его связанного, и три зарубки на воротах это доказывают!

● — Все погибло! — диким голосом воскликнула Эмма и как труп упала к ногам Оттовым.

#### IV

В глухую полночь тайное Аренсбургское судилище<sup>1</sup> собралось под открытым небом в дремучем сосновом лесу, осенявшем некогда берега Эзеля, — собралось, чтобы судить привезенного рыцаря.

Нордеку развязали глаза, и он с изумлением увидел себя на поляне, перед камнем судным. На середине его иссечен был крест; на нем лежали кинжал и книга. Четыре факела, вонзенные в землю, проливали какой-то зеленоватый свет на грозные лица присутствующих, и при каждом колебании пламени тени деревьев, как привидения, перебегали через поляну. Члены, опершись на длинные мечи свои, закутавшись в мантии, сидели недвижны, вперив на обвиненного тусклые очи. Черно было небо, гробовые ели шептались с ветром, и когда стихал их говор, порой слышался плеск волн между камней прибрежных.

<sup>1</sup> Тайное судилище (Freigerichte, Femegerichte, Heimliche Gerichte), это пугалище средних веков, из Германии с рыцарством перешло и в Ливонию. Заседания их (Freistuhl) были в замках Арраше и Аренсбурге, где доселе находится множество костей, в стену закладенных. Позывы свои оно делало и посредством зарубок на воротах или на деревьях. Впоследствии гроссмейстер Эрлингсгаузен запретил особым декретом повиноваться сему суду, основанному вначале для удержания насилий самосудных баронов и впоследствии превратившемуся в скопище разбойников, влекомых корыстью или мщеннем. Слово Femegerichte происходит от старинного саксонского слова *verfemmen* — проклясть, осудить, лишить убежища законов (*vogelfrei*). (Примеч. автора.)

— Твое имя, рыцарь? — спросил председатель.

Нордек величаво стоял между стражей, закинув за плечо цепь и накрест сложив руки.

— Мое имя? — повторил он, озирая с любопытством заседание. — Станный вопрос, ежели ты судья, и бесполезный, когда разбойник. Зачем же лишили меня свободы, как преступника, еще не зная, кто я таков?

— Такова форма суда. Кто ты, рыцарь?

— Меня должен знать каждый, кто не бегал, а дрался лицом к лицу. Впрочем, я, не краснея, могу высказать свое имя и достоинство; я рыцарь Эвальд фон Нордек, владетель Нейгаузена и ротмистр Монгеймовых латников.

— Рыцарь Эвальд фон Нордек! Ты предстоишь священной тайному суду Аренсбургскому, судящему на земле и водах преступников совести и чести. Итак, именем сего суда объявляем тебе: я, Оттокар фон Оснабрюк, фрейграф Аренсбурга, брат Эзельского епископа Германа III, и мы все, духовные и рыцари Тевтонского ордена, что ты обвинен в зажигательстве и в измене Ордену по сношениям с врагами его, русскими. Оправдайся, если можешь!

— Скажи лучше — если захочу; а я не могу и не должен хотеть этого. Я не признаю другой расправы, кроме орденской.

— Здесь ты видишь многих собратий своих.

— Собратий по епанче, не по мечу — потому что вы воюете веревкой и кинжалом, не по кресту — вы изменили ему, преступив клятву повиноваться одному гермейстеру. И, значит, вы враги Ордена, когда обвиняете за то же самое, за что славил меня гермейстер: за верное исполнение воинской должности.

— Но ты забыл тогда долг человека.

— Фрейграф!.. Пролитая кровь, пожары и расхищения святыни и все злодеяния, необходимые спутники войны, лежат на ответе епископа Иоанна и гермейстера Монгейма, а я был только орудием высшей воли. Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги, как крепость, и я взял его приступом, как солдат, а следствия упрямого отпора известны. Но там духовные сражались и гибли, как рыцари, — а вы, рыцари, судите за военное дело, будто за святотатство.

— Вольные члены! В первом обвинении фон Нордек признается.

— Я горжусь тем, как воин, но сожалею о том, как человек. Об остальном же нелепом и низком обвинении скажу, что настоящие сыны Ордена не подражают примеру вашего Фехтена<sup>1</sup> и не братаются с язычниками-литовцами для грабежа братних имений. Впрочем, как можете вы вступаться за Орден, когда сами его первым случаем вините? Разве можно быть вдруг и за епископа и за гермейстера?

— Истина не принадлежит ни к какой стороне, и правосудие казнит без лицепрятия!

— Истина не имеет нужды пресмыкаться во мраке и тайне; правосудие обвиняет гласно и казнит всенародно, а не уязвляет, как змея в пятку, не поражает, подобно бандиту, из-за угла. Еще раз спрашиваю: какое право имеете вы судить меня?

— Рыцарь! Ты должен здесь только отвечать; можешь только просить, а не спрашивать.

— Мне просить! Вас просить! Ты смешишь меня, фрейграф! Послушайте вы, господа самозванные судьи мои, я знаю, что здесь обвинение есть уже смертный приговор и что вы привлекли меня в этот вертеп не для того, чтоб судить, но осудить; со всем-тем не надейтесь, чтобы страх смерти заставил меня в жизни унизиться. Знайте, что я всегда ненавидел вас и даже теперь презираю, что я умру в сладостной уверенности на отмщение вам моего друга Монгейма, и верьте, что каждый волосок, каждый сустав мой выкупится сотнями черепов безземельных ваших рыцарей, белое знамя гермейстерское очервленился вашей кровью и огонь очистит землю от трупов злодейских. Таково будет наказание от человека, господа судьи... Я уже не говорю о воздаянии всевышнего судьи! Ваша совесть вам скажет о нем перед смертным часом,— и не будет вам отрады, ни прощения.

— Нордек! Ты напрасно расточаешь брань и угрозы. Тайный суд бесстрастен, как провидение, и неумолим, как судьба.

— Но кто дал вам, безумные люди, взор провидения, кто вручил вам меч судьбы? Разум, дар неба, и земная власть грессмейстера отвергают суд ваш. Я не признаю его определений!

---

<sup>1</sup> Рижский епископ Фехтен, воюя против герм. Думпесгагена в 1286 г., соединился с литовским князем Витовтом. (Примеч. автора.)

— Так испытываешь его силу,—с злобною усмешкою отвечал Оттокар.— Господа вольные члены тайного Аренсбургского суда, по статутам и законам нашим, клянитесь за мною судить обвиненного по совести и чести!

Все склонили колена и подняли правые руки... Эвальд услышал следующую клятву:

— Клянусь стоять за тайный суд против отца и матери, против жены и детей, против друзей и кровных, против ветра и огня, противу всего, что солнце греет и дождь кропит, противу всего, что между землею и небом находится; и пусть на душу мою обратится проклятие, а на мою голову казнь, присужденная преступнику, если не выполню я судебного приговора.

Как злые духи, встали и уселись опять члены суда, брэнча оружием. Фрейграф продолжал:

— Итак, вольные сочлены мои, перед вами стоит рыцарь фон Нордек, уличенный в святотатстве; измена же его против Ордена, тайная связь с русскими, которым хотел он предать пограничный свой замо́к Нейгаузен, доказана еще в прошедшем заседании клятвенными показаниями известного вам сочлена. Братья и члены! что присудите вы за такие ужасные злодеяния?

Молчание.

— Гельмольд фон Лоде, твой приговор!

— Рыцарь Эвальд фон Нордек осужден!

— *Verfemt!*<sup>1</sup> — раздалось со всех сторон.

— *Verfemt!* — радостно повторил фрейграф.— Лишен покровов всех законов и обречен на смерть. Секретарь, занеси в книгу его имя и преступление. Стражи!

Фрейграф махнул рукою, и несчастного увлекли.

— Рыцарь Ромуальд фон Мей, член тайного суда Вестфальского, ты был обвинителем Нордека,— вручаю тебе кинжал для его казни. Еще сутки будет он жить, чтобы выведать из него тайны гермейстерские, потому что он был во всем правою рукою Монгейма; но потом соверши что начал и объяви главному суду Красной земли<sup>2</sup>, как подвизается здешний, для общей пользы и славы.

Ромуальд безмолвно встал, склонил голову в знак согласия и, взяв кинжал, хладнокровно пробовал его ост-

<sup>1</sup> Осужден! (Нем.)

<sup>2</sup> *Rotes land* — так называли в старину Вестфалию, где находился главный тайный суд, который уже заведовал всеми. (Примеч. автора.)

роту... но взоры предателя сверкали злобно, как глаза волка на добычу. Члены попарно медленным шагом скрывались в мраке и чаще леса.

## V

Видали ль вы восход солнца из-за синего моря? Уже холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Легкие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы. Дальний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою исчезает в небосклоне. Все тихо; только изредка клик плещущихся вдали лебедей по заре раздается, и нетерпеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камышами. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, как бы в раздумье, стоит на краю небосклона и, вдруг воспрянув от вод, величественно устремляется по небу.

Такое утро сияло над диким берегом Ливонии, когда человек двадцать русских гостей любовались им. Две большие высокогрудые их ладни стояли близ утеса. Недалеке светлели высокие башни замка Пернау, недавно отстроенного гермейстером Иокке. Двое, в кольчугах, с секирами, стояли на страже. Другие лежали беспечно, раскинувшись вокруг огонька, лишь по дыму заметного против солнца. Это были товарищи молодого и богатого гостя Андрея Гремнча. В то время все новгородцы вырастали в море и в воде и звание купца было неразлучно с достоинством воина. Случалось нередко, что торговцы, отправляясь в чужбину за мирными прибылями, возвращались с добычею битвы. Каждый своевольно, когда пробуждался в нем боевой дух или корысть к себе манила, вооружался и разгуливал по Вяржскому морю и озеру Ладожскому, на страх немцам и шведам. К такому же разряду, казалось, принадлежала дружина Андреева. Тяжелое их оружие не могло принадлежать людям, непривычным к битве, и жилистые их руки были способнее наносить раны, чем нарезывать бирки<sup>1</sup> или выкладывать на счетах.

<sup>1</sup> Бирки и донны употребляются русскими подрядчиками в виде векселей. Это не что иное, как лучинки, из которых нарезываются кресты и палочки, означающие количество. Потом эта лучинка раскалывается надвое, и половинки хранятся у отдачника и приемщика до расчета. (Примеч. автора.)

— Эй, земляки! — раздалось над их головою, и русские увидели на утесе рыцаря в вороненых латах, на гнедом мекленбургском коне.

— Мы все земляки, все из земли сделаны, — грубо отвечал ему один из гостей, зажигая фитиль самопала.

— Что тебе надобно, рыцарь?

— Узнать, где можно безопаснее к вам спуститься, — отвечал тот.

— Пусть молния опалит мне бороду, если я не спущу тебя вниз одним прыжком! — возразил Илья, прикладываясь; но рыцарь мелькнул и исчез.

— К ружью! — закричал Андрей, хватаясь за меч.

Русские повскакали и приготовились принять незваного гостя. Между тем незнакомец показался опять, тихо съезжая к ним по узкой тропинке.

— Бьюсь об заклад, — сказал Илья, — что это передовщик какой-нибудь ватаги бродящих немецких рыцарей. Ну уж народец! С ними не плошай ни в торгу, ни в мире. Как ворон крови, так они жаждут золота, и хоть деньги ничем не пахнут, но они чутьем своим как раз спроведают, где есть пожива. Сказывали, они еще недавно разграбили наших купцов в самом Юрьеве. Проклятые язычники!

— Они, кажется, христиане, — важно заметил один из гостей.

— Да, да, христиане!..

Рыцарь приблизился, слез с коня, вонзил копье в землю и смело пошел в середину русских. Бесстрашный Андрей вышел к нему навстречу; они сошлись.

— Андрей! — воскликнул рыцарь... и с поднятым на личником кинулся обнимать его.

— Брат Всеслав, ты жив еще!

Сладостно было свидание братьев. Они плакали и усмехались, прерывистые восклицания и безответные вопросы летели. Умиленные новгородцы столпились вокруг своих начальников, кланялись, жали руку Всеславу, целовали и обнимали его, как воскресшего: на родине его давно считали убитым.

— Полно, полно, — сказал Андрей, вырываясь из объятий братних, — ты сломал мне грудь своими латами; но скажи, пожалуй, зачем ты променял свою серебряную кольчугу на этот кирас, в котором гуляешь, словно черепаха?

— Затем, чтобы безопаснее проехать по Ливонии, —

но, брат и друг, мне надо освежить свою душу рассказом...

Братья удалились к стороне: сели под иву, которая шатром развесилась над берегом, и, рука в руке, взоры в глазах друг друга, разговаривали они об родных и родине, и все чувства души и все страсти сердца мгновенно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава, и он жадно ловил рассказы о подвигах соотечественников, о их славе. Он забыл о себе, внимая о Новгороде... Ах! кто не заслушается вестью об родине, как пением райской птички!

— А я, — сказал наконец Всеслав на повторенный вопрос брата, — как ты знаешь, пал окровавленный, избитый и израненный на полях Вейзенштейна, куда удалство завлекло меня с горстью бесстрашных. Я не знал, где я очуствовался. Прошное для меня исчезло; память истощилась с кровью, и все, что тогда увидел я наяву, мне чудилось будто во сне. Надо мною вздымались плитные своды, как в могильном погребке; на мне, как саван, белое покрывало, и тусклая лампада едва освещала окружность. Я ужаснулся; мне представилось, будто я погребен заживо! Холодный пот проступил на лице... Приподнимаю голову, озираюсь... У моего изголовья сидела прелестная, как ангел, женщина... Признаюсь тебе, я обомлел; суеверное воображение представило мне, что в ней вижу я свою душу, которая, перед отлетом на небо, прощается с бrenным своим жилищем. Брат! это была супруга рыцаря фон Нордека, великодушного моего победителя.

— Нордека! — воскликнул пылкий Андрей. — Этого рыцаря словом и делом, который первый под градом камней и проклятий влез на стены дюнамюндские, которого рижане страшатся, как божьего гнева! Я недавно видел его; когда он обок гёрмейстера въезжал в пролом покорившейся им Риги, в пролом, который был для них победными воротами. Этот Нордек ехал так горд, глядел так смело всем в глаза... что... признаюсь, меня взяла охота померять с ними силы, — он должен быть славный человек.

— Он в самом деле таков, — продолжал Всеслав. — Вспыльчив до бешенства и неустрашим до безрассудства, зато как добр и радушен! Теперь буду говорить о себе. Между тем как медленно возвращались мои силы, раздоры Ордена с Новым-городом продолжались, и мне не-

возможно было в целые полгода дать весточки, нельзя было спроведать о родимых. О, как часто, друг, у меня было тяжело на сердце! И некому было открыть тоски своей, не с кем погоревать вместе. Часто, каждый день глядел я с башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, которая вилась и скрывалась в лесу; иногда скакал по ней русский всадник — и надежда моя воскресала, сердце билось крепко; но мнимый вестник скрывался — и вновь оно ныло и замирало. Только с Эммою находил я отраду; и благодарность за ее нежные попечения об раненом превратилась во мне в какую-то неизъяснимую тихую к ней привязанность.

— Неизъяснимую? — перебил, грозя пальцем, Андрей. — Для меня это очень понятно: ты влюбился в нее...

— Нет, Андрей, нет; это не была та бурная любовь, которую судьба судила мне испытывать. В этом неприхотливом чувстве нет волнений, нет бешеной веселости без причины, нет отчаяния от безделиц; огонь не сжег моего сердца, и ревность не раскаляла его. Только, не знаю отчего, при ней я дышал свободнее, с нею был веселее, но совесть моя была светла, как клинок твоей сабли. Мы почти не разлучались — все трое езжали на охоту, на прогулку, утром учили друг друга родным языкам своим, а вечером рассказывали повести. Добрый Эвальд радовался, что пленнику не скучно; гостеприимство и доверенность царствовали в доме, время мчалось, и пагубная минута пробила. К Эвальду приехал погостить старинный друг его, вестфалец фон Мей, мальтийский рыцарь, который в числе воинов прусского графа Аренсбурга помогал гермейстеру на русских. В его душе сходились все знойные страсти Востока с необузданною волею, которая всего желала и все могла. Он вспыхнул страстию к прекрасной Эмме и употребил все средства опытного волокитства, все тонкости тщеславия, все обольщения богатства, чтобы склонить ее на любовь. Гордая невинностию Эмма не хотела даже приметить этого, и ее презрение возбудило в развратном его сердце злобу. Он оклеветал ее в глазах мужа, заставил меня взяться за оружие, чтобы отвечать на обидный вызов Эвальда, и, должно подозревать, обвинил его перед тайным судом, потому что Эвальда схватили и увезли на Эзель. И что сказать тебе еще о злодействах этого разбойника? Он, пользуясь смятением, похитил Эмму, туда же увез сестру мою, нашу Эмму, — и, может быть... —

как еще кровь не брызжет из жил моих! — она поругана, обещана! Что же ты смотришь на меня с таким изумлением? Да, там я нашел сестру, ту самую Марфу, которая еще двухлетняя похищена была у родителей наших при набеге рыцарей на предместье Пскова. Отто, отец Эвальда, сжалился над вогибающей малюткой — привез домой и воспитал как дочь, под именем дальней родственницы, не открывая никому тайны ее рода, ибо он знал, как ненавидят германцы все русское племя. Я узнал о том нечаянно, перед ее похищением, когда Отто хотел благославить меня крестом русским для поиска об Эвальде. Брат! вот он, вот семейный наш крест, вот и половина кольца с перста чудотворной великомученицы Варвары, которым нас, близнецов; с Марфою благословил архиепископ, разломив на полы. Подобный крест и полкольца уверили Эмму, — и я прижал к груди моей погибшую сестру, я нашел ее, — и мы потеряли ее, может быть, навсегда. О брат, брат, мы ее потеряли!

— Чего же медлим, — воскликнул Андрей, — для чего ж волочим время в рассказах, когда наш зять теряет, может быть, жизнь, а сестра честь свою! О, как бы обрадовались наши старики такую находкою; а чего не сделаю я, чтобы их обрадовать? В поход, товарищи!.. Мечите в море лишний груз — надобно жертвовать драгоценным благороднейшему. На Эзель, в Аренсбург! в этот притон тайного суда, об котором довольно слышался я, в это гнездо плутов, которые во зло употребляют слово *правосудие* и льют кровь невинных.

— На Эзель, в Аренсбург! — восклицал Всеслав, вскакивая в ладью. — И дай мне руку, брат, на смерть беззаконникам, если казнь уже постигла благородного Эвальда. Я подкрадусь туда, как тать, и зарежу их, как разбойник; в крови отцов утоплю детей, дымом пожара задушю все племя злодейское, и пламень — знамя истребления разовьется над главами башен.

Якорь был уже поднят, когда Андрей послал одного из своих на берег.

— Возьми братнину лошадь, — говорил он ему, — и скачи по берегу, ищи русских, расскажи им дело и собери удалых в Ревеле. Там господами датчане, и они будут с нами заодно. Если чрез два дни нет вести, то спешите на Эзель и совершайте по нас поминки как знаете. Прощай!

Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая волны, полетела по морю.

«Счастливого пути вам, други! — думал оставшийся новгородец на берегу.— Спешите: ветер изменчив, и злодейство не теряет минут. Кто знает, на избавление или на бесплодную месть вы спешите».

## VI

Скован, как злодей, осужден, как преступник, лежал Эвальд на полу в одной из башен аренбургских. Неумолкающая тоска грызла его сердце, и все насмешливые воспоминания счастья и все жестокие ощущения души будто нарочно роились в воображении, чтобы отравить последние минуты жизни. Пять дней тому назад он был счастливейшим человеком в свете. Увенчан любовью, отличен гермейстером, почтен равными себе, спешил Эвальд в объятия прелестной супруги и друзей, ему обещанных. А теперь... о боже мой, боже мой! Кто испытал вдруг столько душевных и вещественных несчастий! Обманут другом, изменен женою, безвозвратно оклеветан, очернен пред рыцарством, перед потомками, осужден незаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь!..

«Умереть легко,— думал он,— но умереть на поле чести или на ложе предков, не на плахе потаенного палача, на которой не застыла еще кровь какого-нибудь бездельника. Погибнуть столь внезапно, оставить без награды лучших друзей, без отпущения злейших врагов!.. Умереть так темно, что ни один наследник, даже для виду, не придет поплакать на прах мой... Его развеет ветер, размоют волны и хищные птицы разнесут по лесам и болотам... О, это ужасно, это нестерпимо!»

В отчаянии грыз Эвальд оковы, и слезы ужаса бесчестной смерти замерли в очах его. К счастью человечества, сильные удары страстей непродолжительны. Выстрел потрясает твердь, но исчезает мгновенно; так и отчаянье Эвальда утихло, как стихает ниспавшая волна водопада. Казалось, разум сжалился над несчастным и отлетел прочь. Настоящее, прошлое и будущее смешались для него в хаос. Мечты, будто сонные видения, проходили, кружились, сталкивались в воображении; но тусклое понятие не могло схватить ни одной черты, ни одной мысли,— все было мрачно, как могила, и безначально, как вечность. Наконец звук цепей извлек Эвальда из его ничтожественного забытья.

«Может быть,— подумал он с горьким вздохом,— эти цепи заржавлены слезами других обвиненных, до меня здесь погибших... Может быть, и они были так же невинны, так же несчастны, как я!.. Их уже нет... Скоро и меня не станет, и поздний потомок найдет наши имена, записанные в кровавой книге преступлений!.. Худая слава живет долее доброй, и, статья может, имя Нордека, которым гордились доселе рыцари ливонские, предастся на поругание в веках грядущих. Так! Благодетели людей тлеют в гробах, наравне с теми, кому благодетели они, а ненависть переживает поколения. Знаменитые подвиги умышленно забываются завистью, неодолимые замки исчезают под бороною, славные удары могучих снесают время и ржавчина, с сокрушенными от них бронями, а между тем низкая клевета таится в архивах, и предатель-пергамин, чрез сотни лет, выдаст сказки за истину, обесславит добрых и возвеличит ничтожных злодеев!.. Но разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд независимо от прихотей случая и обманчивых понятий человека? Разве нет другой жизни, где все истина и все благодать?..»

Сердце Эвальда смягчилось, общая судьба людей примирила его со своею судьбою, и какой-то внутренний голос вопиял ему: «молись!» И Эвальд молился. Правда, он часто забывал молитву в боях и на пирах, но теперь, на пороге смерти, он молится, и молится не от страха, но от умиления сердца. Часто забывают смерть в припадках чести на поединках, ее не замечают в блестящей мантии славы на сражениях; но не тогда, как она является во всей своей наготе, со всеми ужасами неизбежной казни. Эвальд молился чистосердечно, искренно... и час его пробил. Визгнули тяжкие засовы; скрепя, отворилась дверь на пятах, и убийца с фонарем и книжалом предстал осужденному.

## VII

— Куда вы везете меня? — говорила умоляющим голосом Эмма, в эстонской ладье, своим бесчувственным похитителям; говорила, и буйный ночной ветер развеивал ее волосы, уносил ее слова.

— Конрад! Конрад! Сжался хоть ты надо мною, вспомни мои всегдашние к тебе милости... Злой человек, чем заслужила я от тебя такую измену!.. Любезный Конрад, скажи, куда и зачем везут меня?

— На Эзель, сударыня, на славный остров Эзель, в гости к прекрасному господину моему, рыцарю фон Мею.

— Но увижу ль я там моего Эвальда?

— О, конечно; он, верно, дожидается вас на первом дереве, а не на виселице,— в этом я уверен, и это же самое докажет вам, что г. Эвальд осужден не гражданским, а тайным судом. Да, впрочем, вам, высокороденная баронесса, печалиться не о чем. Такая красавица, как вы, в женихах нужды иметь не будет. Ромуальд вас повезет с собою в Вестфалию, а там не то, что ваша Ливония, где не найдешь, прости господи, кочна цветной капусты; там, сударыня, шпанских вишен куры не клюют, а винограду больше, чем здесь рябины; а рейнвейнто, рейнвейн! О, да вы будете жить припеваючи. Правда, ему нельзя явно жениться на вас; так что ж? Вы обвенчаетесь с левой руки, а ведь с левой руки и сердце!

— Святая Мария! подкрепи меня,—воскликнула Эмма, рыдая,— до чего я дожила: последний вассал смеет надо мною насмехаться. О злодей Ромуальд, я проклинаю тебя!

— Ведь я говорил, что напрасно снимать повязку со рта баронессы: она может простудиться, говоря так много. Ух! как качает, как плещет! Не правда ли, сударыня баронесса, что ветер здесь немножко посильнее, чем ветер от вашего опахала? Не поблагодарите ли вы меня за эту прогулку по морю! Могу похвастаться, что я избавил всех от погони; это была мастерская штука; я каждой лошади вколотил в ногу по гвоздику. Ба, да вот и огни в Аренсбурге; посвищи, друг Рамеко, чтобы еще крепче задул ветер. Скоро, скоро мы выйдем на берег, скоро вино польется в горло и деньги в карманы.

Вдруг взглянул Конрад в сторону: огромная ладья на всех парусах с наветра катилась к ним наперерез.

— Кто едет?! — оробев, закричал Конрад. — Кто, друзья или неприятели?

— Это он, это изменник Конрад! — заревел в ответ громовой голос, и вмиг русская ладья врезалась к ним в бок.

Ужас охватил сердце Эммы... Она слышит треск досок, хлопанье парусов, крики битвы и клятвы умирающих. Мечи скрестились, искры сверкают по шлемам, и

вот несколько выстрелов, и опять сеча, и, наконец, вопли о пощаде...

— Нет пощады, топите разбойников! — раздалось, и вмиг ярящиеся волны заплескались над тонущими и залили их пронзительные голоса.

Конрад схватился было за край, но мольбы злодея были бесплодны, и он, проклиная себя, с обрубленными руками опустил на дно морское.

Какой переход от отчаяния к надежде, от чувства страха к нежным ощущениям. Спасенная Эмма опаматовалась в объятиях братьев!

— Слушай, Рамеко, — говорил Всеслав избегшему от смерти кормщику эстонской ладьи, — дарую тебе жизнь и свободу, но веди нас мимо камней, прямо к Аренсбургу, прямо к той башне, где заключен пленный рыцарь. Ты сегодня оттуда, следовательно, должен все знать. Веди — или я познакомлю тебя с рыбами!

Эстонец повиновался охотно, ибо он ненавидел владельцев своих столько же, сколько их страшился.

Между тем буря свирепела от часу более; дождь лил ливнем, и только блеск молний показывал близость замка.

— Смотри, — говорил Всеслав брату, — как дождь гасит ложный маяк, сложенный из бревен разбитого корабля, чтобы приманить другие к гибели. Смотри, как вьется молния вокруг шпилей замка, воздвигнутого на костях несчастных пловцов, и не для защиты, а для угнетения людей; но минута карающего гнева присплет, и гроза небес испепелит грозу земли.

— Сюда, сюда, — тихо говорил кормчий, устремляя бег ладьи на высокую стену. — Опустите паруса, снимите мачты, склонитесь сами: мы проедем сквозь низкий свод, оставленный для протока воды по рвам, к самому подножию башни.

Не без трепета и сомнения пустились русские под свод, где измена и гибель могли встретить их.

Страшно плескали волны залива в стену и, отраженные, стекали из-под свода, журча между расселинами камней; но там все было тихо и каждый шорох вторился многократно. Чрез минуту они уже были во рву между башнею и стеною.

— Вот окно заключенника, — сказал проводник, и русские остановились в недоумении: окно было по крайней мере четыре сажени от земли.

— Wer da? <sup>1</sup> — закричал часовой, беспечно прохаживаясь по стене, и завернулся в плащ, в полной уверенности, что над ним потешаются злые духи.

— Я укорочу тебе язык, зловещая птица, — тихо сказал Геден; стрела взвилась, и часовой полетел в воду.

— Счастливый путь, товарищ! Спасибо, что ты открыл нам дорогу наверх... Посмотри, брат Всеслав, его плащ зацепился за зубец и раскинулся по стене... Помогите мне, друзья, достать кончик; так, теперь крепко, не сорвется. Тише, тише... Я уже наверху, а отсюда не более полуторы сажени до окошка. И ты уже здесь, брат Всеслав, это славно! Теперь, товарищи, вырвите из часокола бревно и подайте его сюда, оно послужит нам вместо лестницы и тарана.

Чрез четверть часа десять удальцов были на гребне стены и по приставленному бревну, скользя и обрываясь, лезли к башне. К счастью, подле рокового окна выдавалась над рвом висятая стрельница, и с нее-то Всеслав достиг до него. Приложив ухо к решетке, ему послышался голос, но это не был голос Эвальда! Неужели же все труды напрасны, неужели его обманули?

## VIII

Всеслав принял внимательнее к решетке, не смея, однако ж, заглянуть в нее... Гневные слова раздавались в башне: то говорил Ромуальд.

— Вероломец, изменник, предатель, говоришь ты; такие названия мне сладостны из уст моей жертвы. Так, я изменил дружбе, я скрывал свои чувства, я предал тебя сторонникам Иоанна, чтобы удовлетворить свои страсти, а мщение есть первейшая моя страсть. Помнишь ли, Эвальд, турнир в Кенигсберге, помнишь ли тот удар копья, которым ты выбил меня из седла; это еще я мог простить тебе: тут была обижена только гордость; но помнишь ли, что вместе с призом ты похитил у меня и сердце ветреной Аделаиды, — этого я не мог простить и никогда не прощу тебе и с той же минуты гибель твоя была решена. Ревность заставила меня облечься в эту мантию и загнала на скалы Африки, но месть

---

<sup>1</sup> Кто там? (нем.)

привела сюда. Ты видел, умел ли я притворяться. Теперь узнай еще, что я оклеветал твою Эмму и очернил Всеслава, чтобы заставить тебя их обидеть. Этого еще мало, Эвальд: недовольный, что я поругал твое имя, что вонзил в твое сердце муки совести, я похитил твою Эмму,—теперь она уже в руках моих, и, вышед отсюда, зарезав тебя, я осушу ее слезы поцелуями. Эмма — женщина: я ручаюсь, что через два дни она будет уже играть этим кинжалом, который напьется кровью ее супруга.

— Изверг природы! — воскликнул Эвальд, всплеснув руками, — человек ли ты?

— О, конечно, не ангел, — злобно отвечал Мей, — но какие существа мне не позавидуют: я наслаждаюсь мучениями моего врага... Ну... полно тебе жить, Эвальд, теперь я хочу жить за тебя.

Ромуальд взмахнул кинжал, но вдруг сбита решетка, гремя, ринулась к ногам его. Убийца оцепенел — и Всеслав, как ангел мщенья, ворвался в темницу и одним ударом меча обезоружил Ромуальда.

— Полно тебе злодействовать, Мей! — загремел он. — Твой час пробил. Выкиньте этого тигра в окно, — сказал он своим, — чтобы он не заражал воздуха своим дыханием!

Новгородцам не нужно было повторять приказа; Ромуальда схватили, раскачали и вышвырнули в окно с башни.

— Бездельник не утонет, — сказал Гедеон с насмешкою, прислушиваясь к падению Мея, — у него препустая голова; слышишь ли, как звенит она, стучаясь о камни?

— Его и дребезгов не останется, — отвечал Илья, — прежде нежели долетит он донизу: все стены утыканы частоколом.

— По делам вору и мука, — примолвил Гедеон, — он был великий злодей.

В одно мгновение разбил Всеслав рукоятью меча цепи Эвальдовы, и Нордек склонил перед ним колени.

— Склоняюсь перед невинно обиженным мною, — воскликнул он, — и объеблю моего великодушного избавителя!

Они взирали друг на друга с чувством безмолвного посторга, и горячие слезы удивления и раскаяния смешались.

— Спеши к Эмме,— сказал Всеслав,— она невинна и добра, как прежде,— она здесь внизу...

С криком безумной радости прыгнул Эвальд на стену, с нее в ладью, и счастливый, прощенный супруг упал в объятия восхищенной супруги. Для таких сцен есть чувства и нет слов.

Гроза стихала, и наши пловцы выбирались из-под свода, когда чей-то стон привлек их внимание. Всеслав выпрыгнул на камень, чтобы посмотреть, кто это, и ужаснейшее зрелище поразило его взоры: Ромуальд, изможденный, проткнутый насквозь заостренным бревном, висел головою вниз и затекал кровью; руки замирали с судорожным движением, уста произносили невнятные проклятия.

— Чудовище,— сказал Эвальд, содрогаясь от ужаса,— ты жаждал чужой крови и теперь задыхаешься своею.

Зажав уши, отведя глаза, бежал он прочь. Но долго после того ему слышалось, впросонках, смертное хрипение Мея, и картина его казни представлялась как живая.

Ладья летела будто окрыленная, и новые родные уже беззаботно предались излиянию чувств и рассказам.

— Посмотри, брат,— сказал Андрей Всеславу,— как расцветает над замком зарево,— это мое дело; я вместо тебя распустил на башне огненное знамя истребления и позаботился, чтобы нам было светло в дороге. Огонь горячо принялся за наше дело, да и ветер раздувает его так усердно, будто приверженец гермейстера. Послушайте, как кричат они, как стелется дым и кидает уголья во все стороны. О, это утешно, это будет памятная оплата господам тайным судьям за явиные их проказы. Однако ж, посоветуй зятю Эвальду не выезжать вперед без свиты. У него не две головы, и мщенье не обманывается дважды.

Спешите к берегу, молодые счастливицы! Там встретит вас дружба и под щитом своим проведет на родину. Спешите! В Нейгаузене ждет вас радость и ликование; гостеприимство и приветы найденных родителей ждут вас в Новегороде.

Я видел живописный Нейгаузен, и в нем не раздавался уже звук стаканов, ни гром оружия. Верхом въехал я в круглую залу пиршества,— там одно запус-

тение и молчанье. Этот замок, построенный Вальтером фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на границу России, доказывал некогда могущество Ордена; теперь доказывает он силу времени. Лишь одна круглая башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное распалось. По карнизам стелется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда летали некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, оmyвает главы обрушенных башен, которые когда-то гляделись с высоты в его поверхность.





## ИСПЫТАНИЕ

*ПОСВЯЩАЕТСЯ АРДАЛИОНУ МИХАЙЛОВИЧУ АНДРЕЕВУ*

I

...В благовонном дыме трубок,  
Как звезда, несется кубок,  
Влажной искрою горя  
Жемчуга и янтара;  
В нем, играя и светлея,  
Дышит пламень Прометея,  
Как бессмертная заря!

Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры \*ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искрення их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении конх воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом, — все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право, не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметио

упорствовал подниматься к нёбу; восклицания, и вздохи, и табачные пuffs становились реже и реже, по мере того как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, исстрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще сидя. Что красивее, троерядный или пятирядный ментик? Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрединский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю, с бокалом шампанского, и дружески сжимая его руку. — Сто лет!

— Милости просим на погребенье, — отвечал, усмехаясь, Гремни, — и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет! это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов! Ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да поконится твое романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтоб быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да поконится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости ломали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верного конца в преисподнюю подстоля!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из «Фрейшица»; а теперь одна аппликатура V.C.P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки Стрепетов, круживший головы дам неутомимостью ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости; ты вечно был в разладе с музыкою, — зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолобец Пятачков! хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов! Что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать? И, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра, — да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись. — Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять

не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.

— Тогда я не считал бы их мертвецами и не рассказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург, немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин. — Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника, три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь, — вспыхнув, отвечал Стрелинский, — она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностию, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем?

— По несчастию, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял, — и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота.

— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, *mon cher Nicolas*;<sup>1</sup> разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

---

<sup>1</sup> Дорогой Николай (фр.).

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное: неуменье жить в свете!

— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле — все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер — плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти; мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сию сиднем, она, может, изменяет мне.

Сомнение для меня тяжелее самой неблагоприятной известности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Валериан! Я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок,— одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок другу и подруге, с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтоб влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!

— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком!

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай...

— Все обдуманно и передумано; я неотменно хочу этого, а ты, несомненно, это можешь. В подобных делах друг твой — настоящий новгородец: прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да! Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем,

что ты и я, как очень легко стать может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство; уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю. Репетилов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Bravo, bravo, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня,— за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник! Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же!

— А если забуду, то, наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила как ангел, пишут мне родственники.

Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить когда вздумается; но ощипанный петух мог ли бы стать человеком или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от мыса Доброй Надежды до залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста в Париже и от моего до Чукотского носа? Пусться в определения, я не остановлюсь на одном; у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мысль — следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю — следственно, думаю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то уста-

лость овладевает душою. Волокитства наскучивают; ночевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно оно бьется, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur à perte de vue!* Мечты — это животное-растение, избегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремينا и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу, — думал он, нахмурясь, — есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла, спросонков. — Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтоб повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос для кого? перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое! Что ж ты вытарачил глаза, как мерзлая щука! Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника, хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете

<sup>1</sup> Это счастье необозримо! (фр.)

другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

«Стрелинский проведет неделн две в Москве,— думал он,— и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливецом, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуск.

## II

If I have any fault, it is digression.<sup>1</sup>

*Byron*

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в Финской Пальмире нашей, в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь Московскую заставу в самый рождественский сочельник, и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «Пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычан, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа! Сенная площадь, думал Стрелинский, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра, и на камчатных скатертях ведемжи и на обиаженном

---

<sup>1</sup> Если я в чем-нибудь виноват, то только в отступлении.  
*Байрон (англ.).*

столе простолюдина и покупателей их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ощипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем. Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них, на запятках, совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любясь своею белизною, говорят нам: «Я разительный пример усовержшаемости природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окороки, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, сильнее манит взоры обедал, но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — это четвероногая идиллия — выражает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внемлют голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горче, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций, и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, нидейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица —

домоводству, лисица — политике или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынноика Галерной гавани, или Коломны, или Прядильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупателей и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедняка, в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукой утку, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку, расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих, и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простяка крестьянина «знать совесть», сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу и кофейку и волошских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках.

Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «Барин! барин! ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для починну, для вас!» и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед, — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных «Ваньками», на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремеслен-

ники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчниками», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепочки и духи, любят свои ножки в чулках à la *joie*<sup>1</sup> и повторяют прыжки французских кадрили. У дам свои заботы, и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины — все заняты, ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун рождества есть детский праздник. На столе, в углу залы, возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает *Weihnachtsbaum*<sup>2</sup> в полном величии, увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. Этот *Pour le mérite*<sup>3</sup> радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

<sup>1</sup> Ажурные (фр.).

<sup>2</sup> Рождественская елка (нем.).

<sup>3</sup> За заслуги (фр.) (пруссский орден).

Наконец день рождества Христова светает в тумане, и **вы** волею и неволею пробуждены **крикливым** пением школьников, которые, как волхвы, **путешествуют с огромною звездой из картона, с разноцветною фольгой, прорезью, подвесками и свечами.** Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход для христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец, подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но увы! — подблюдные песни остались у **одних** только купцов, расспросы прохожих об имени и **слушанье под окнами** — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только факты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное; но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан только для башмаков. Оно отказалось даже от *jeux d'esprit*<sup>1</sup>, — быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно, слишком простонародно!

«Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицания многих моих читателей. — Вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению».

«В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи!»

«Но скажите, по **крайней** мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?»

«Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи».

«Признаюсь, странный способ заставить читать себя».

«У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих».

---

<sup>1</sup> Остроумие (фр.).

### III

**Вы** клятву дали? Эта клятва —  
**Лишь** перелетным ветрам жатва.

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О\*\*\* три дня после рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к освещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлином своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетусками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностью.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей **во фраках и в мундирах**; теснота **в зале танцев** — и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате **шахматов**, ропот за столами **виста и экарте**, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее — свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, «не утолимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (*mariage-hunters*) обоих полов. Рассеяннo, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах, как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсоно-

ву фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У\*\*\*; она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, те же затен, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна,— думает один,— но отец ее молод, бог знает, сколько проживет, он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется,— тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалеко, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры,— старая, но всегда удачная дипломатика,— потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «Маски, маски!» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание, равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского кадрили, и одна из

масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они всё сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приближалась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь взглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его, — я называюсь дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риэго е Колибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг

около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau ça!»<sup>1</sup> Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними, — они пересняли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, среди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попури — и снова получил согласие. Попури и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовую женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими *oui, Monsieur, certainement, Monsieur*<sup>2</sup>. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Греммин, — думала она сама с собою, — тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость

---

<sup>1</sup> Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)

<sup>2</sup> Да, сударь, конечно, сударь (фр.).

следовала, как холодная тень, за выражениями ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графиней, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия, спросил;

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее *temento mori*<sup>1</sup> — князь Пронский? Он так часто меняет свои покроя, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, дон Алонзо; разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, *pendant*<sup>2</sup> князя Пронского, летающая волаком со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминам лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуй бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр

---

<sup>1</sup> Помни о смерти (лат.).

<sup>2</sup> Пара (фр.).

фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон-Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Рансова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, дон Алонзо е Фуэнтес е Калибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня,— отвечал с чувством испанец, устремляя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы рассказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петербурге и на бале, и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... Но вы не туда смотрите, дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым *déjeuner dansant*<sup>1</sup> глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? *Mais il n'est pas mal, vraiment*<sup>2</sup>. Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: «Любите меня, или смерть!»

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют

---

<sup>1</sup> Завтрак с танцами (фр.).

<sup>2</sup> Но он, право, недурен (фр.).

патент на остроумие, до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбензма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, дон Алонзо! В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того, чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня; самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, дон Алонзо! Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не выдав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могли изумлять красотою... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я

вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и...— Вихорь вальса умчал графиню на средину, где законы попури заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*<sup>1</sup>, одной из фигур французских кадрилией.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня; когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!

— Не более как историк, графиня... беспристрастный историк...— возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное *ах!* вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремия. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую,— отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна: отвечала *нет*, где надобно было говорить *да*, и *мне очень жаль* — вместо *я очень рада*. «Она хочет нас мистифицировать»,— говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

---

<sup>1</sup> Пастушка (фр.).

Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

#### IV

Для нас, от нас, а, право, жаль:  
Ребра Адамова потомки.  
Как светло-радужный хрусталь,  
Равно пленительны и ломки.

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепленные идей, образов, включений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения... И вдруг стены третьей станции вставляли около нее с лубочными свонми портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!..» вскрикивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчит котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... Какой-то незнакомец в испанской мантии на гусарском доломане приближается к ней и... Но пере-

честь все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантасмагорическим теням.

— Он придет,—наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло,—он скоро придет.

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто?..—Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно.—Увидим! — отвечала она со вздохом.— Накажи только швейцару, что если придет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю,—прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чая и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением и первое милое личико — любезным предметом,—человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом, ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине; ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремину. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и

опыт удивительно как разворачивают молодых людей и что любезность Гремича достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна — и холодна как мрамор».

— Однако ж который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они; любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы вернуть словцо очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностью. Крепко забилося сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.

— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.

— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня; а не нагладелась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он

был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан,— так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками,— однако ж он, верно, гвардеец... У него такая прекрасная карета...

— Это он,— произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустил очи, вошла в гостиную, краснея, подняла их,— и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини,— она неподвижно глядела на незнакомца... Но он, вероятно, более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гidalго, хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смушение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор! Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и, позвольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы,— но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они несколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор,— отвечала графиня, улыбаясь.— Теперь вы бы могли усомниться

в истине моего ответа, потому только, что он сказан при первом вашем посещении; я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, не уверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня; будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть в дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте докончить речь вашу,— иногда терпят, кого не ждут,— не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, что вы неисправимы.

— Неисправим, что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — *истина*, во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я не обвиняясь скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. — Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под хладное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворною росой...

Он замаялся, не зная, какой родительный падеж прибавить сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камер-

динеру и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы), то при слове *небо*, которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило, Валериан слушал так внимательно! А это великое искусство, особенно с женщинами: они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но как бы то ни было, и то и другое — вещи легковогогораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский, — примолвила она, — вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... Мне показалось, оно не во-все мне незнакомо.

— Кольцо это, — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине, — кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Пе-

тербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились, и услужливые киевские жиды тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах, Стрелинский, — где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я уже отозвана за месяц на ежегодный и единственный бал к княгине Бóрис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов, — я ей племянник. По крайней мере я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожуричь меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского. Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада... Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя счастливым, наслаждаясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграю, Валериан!» — могут воскликнуть чи-

татели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет,— говорил он сам себе,— я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!»— думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поспекал с повинною головою к княгине Борис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званных обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом; тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом— слово за слово, взор за взором— мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея: «Графини Звездич карета!» разрушал его упоение и с превыспренных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр,— Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфой,— Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он *dilettanto*<sup>1</sup> от султана до шпор,— и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам не более.

Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине, при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала

---

<sup>1</sup> Дилетант (ит.).

на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

«L'amour est l'égoïsme à deux»<sup>1</sup>, — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многобредивших и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти; все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?

## V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

*Старинная эпитафия*

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец вы-

<sup>1</sup> Любовь — это эгоизм вдвоем (фр.).

сокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостью, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских, предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах! как вы добры!» или: «ах! как вы злы!» — если он то заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронизательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств и непоколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшей заботою Ольги. Она играла для него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед ним, как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок оттого, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь! Как они целые три ночи не спали от страха от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», укала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах.

— Впрочем,— прибавляла она, извиняясь,— я была тогда такая кофейная.

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и по-

тому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог,— возражал тогда Валериан, лаская ее,— чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть, разгадывая ее мысли, может быть, собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер наваял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то, думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своею! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви?

— Мир, мир, моя проникательная сестрица! Положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, *mon frère*<sup>1</sup>, графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницей своих тайн.

— О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет, людей еще менее, но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

---

<sup>1</sup> Брат (фр.).

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец: вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в тайнство своего скрытного братца. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти!! Нет, *mon frère*, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такою простенькою.

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга! — сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело. — С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в моем ребячестве: я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело, как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю, во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом, — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую лошадь, — не правда ли? Вечеру мы за чайным столком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно, — ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые, — верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих.

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? — спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня *ma cousine*<sup>1</sup> и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете: а быва-

---

<sup>1</sup> Кузина (фр.).

ло, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве: я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, mon frère? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями,— зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты,— он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха Четвертого, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, непоколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину,— думал он,— и мы оба могли быть счастливы; я с Алиной, он с Ольгой. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает: светская женщина вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасюсь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего

упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия; вот уже два раза я писал к нему, — и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было, я не уступлю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решил».

## VI

Так! я мечтатель, я дитя,  
Мой замок карты,— но не вы ли  
Его построили, шутя,  
И, насмехаясь, разорили!

В книге любви всего милей страница *ошибок*; но все-му своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новой игрушкой, и воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шуток, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово,— мыльный дождь нравоучений и град насмешек раздражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово «люблю!» двадцать раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалась испугана этим словом — «люблю вас», как вы-

стрелом, — как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться, рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют *медовым*, то первый месяц открытой любви, по всем правам, именовать можно *нектарным*, — это небосклон после грозы; светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы прилчий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение — на каждый шаг в обществе, его добрые мнения — для всех протекших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излияний душевных Алина рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботи-

лась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою; как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарили, я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец, я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я — своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустию, желало чего-то непонятного; это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я благодарю providение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть *как другие* довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина потому, что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен; я была от того вне себя, называла это холодною, укоряла в неблагодарности, в измене и забыла его скорее, чем надеялась. За границу чаще сама с собою, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье; в вих-

ре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощью книг и разгадывая книги по сердцу; это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере я могла бы теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностью, но я уже предохранена была от этого чада; я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами, так что я больше чем когда-нибудь почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят; одна — поторопившись выучить привозное, как попугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретила с тобою, и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремину; я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверялась как старому другу; одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. Остальное тебе известно, милый Валериан... И бог тебе судья, если когда-

нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен; ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию, и он, с пылкостью юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина остановила этот порыв достоверности.

— Не клянись, Валернан,— сказала она с нежностью,— клятва почти всегда неразлучна с изменой,— я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром; мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертал план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и который колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, он тайне делал все жертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуниспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои; не доставало только опытности, но она приходит сама собою; притом, первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал, знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности», думал он. Если ж нет? Нет! Женщина, которая пред-

почтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Лдяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, назло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти чрез бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддерживать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah! que c'est amusant»<sup>1</sup>, хоть едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, предупредив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина, — сказал он, — я решил оставить службу, для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

---

<sup>1</sup> Ах! как это забавно (фр.).

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механическою, а быть дипломатом несовместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих, — тут Валериан развил пред нею подробный чертеж своих замыслов, для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелем будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою и она опустила руку Валериана.

— И это решительно? — спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны, — сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина! я жду приговора. В искреннем ответе твоим моя судьба: могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! Три дня — век для влюбленного!

— Жестокий человек! Деревня — вечность для женщины!

С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини.

## VII

Burleigh

Jhr wart es doch, der hinter meinem Rücken  
Die Königin nach Fotherinaschloß  
Zu locken wußte?

Leicester

... Hinter Euren Rücken?  
Wann scheuten meine Taten Eure Stirn?

Schiller<sup>1</sup>

— Подполковник князь Греминг — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала *grande-patience*<sup>2</sup>. — Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича; однако ж когда узнали, что вы не выехавши, просили доложиться. — Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте, вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных.

1

Бэрлей

Не вы ли за спиной моей сумели  
Направить королеву в Фотрингей?

Лестер

За вашею спиною? Да когда же,  
Когда в своих делах я укрывался  
От вашего лица?

Шиллер (нем.)

2 Большой пасьянс (фр.).

Пылкий только на день в преследовании замыслов, внушенных прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графиней Звездич, он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревнисть его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Кристины, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменой и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худо понятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей! Не застав дома Валериана, князь, однако же, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами, но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выразительный голос свой звуками фортепиано:

Скажите мне, зачем пылают розы  
Эфирною душою, по весне,  
И мотылька на утренние слезы  
Манят, зовут приветливо оне?

Скажите мне!

Скажите мне, не звуки ль поцелуя  
Дают свою гармонию волне?  
И соловей, пленительно тоскуя,  
О чем поет во мгле и тишине?

Скажите мне!

Скажите мне, зачем так сердце бьется  
И чудное мне видится во сне,  
То грусть по мне холодная прольется,  
То я горю в томительном огне?

Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы. Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкою, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттической формою рук, и высоким че-

лом, на коем колебались гроздия русых кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностию; брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой; казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего сердца... И все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремينا; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне!»

— Я могу только то сказать вам, сударыня,— сказал Гремин с чувством,— что вы поете как ангел.

Ольга вспрыгнула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала, и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай,— и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно, помочь нам развеселить

брatца: он два дня сам не свой; печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас, пойдемте!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непри-  
нужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги: «Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину»,—бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремину.

— Только тебя не доставало, милый князь,—вскричал он,—чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять *вас*, господин Стрелинский,—отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий.— Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? Господин Стрелинский? Право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностию графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностию, пошел навстречу неприятностей, решась платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все, что *слишком*,—обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего привета похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя!

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О! вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой

язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия? Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имение, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы самн. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия, я вам предсказывал все, что могло случиться и случилось-волею судьбы. Сердцем *нельзя* владеть по произволу.

— Но *должно* владеть своими поступками. Так, милостивый государи! Я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрастный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или по крайней мере удалиться, заметив опасность для самого себя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил тебе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремий, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба, к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, <sup>счастлив</sup> небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился

от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!

С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу извинить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... Женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее на счет графини, Гремин! Я сиоил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... Я не ангел.

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор.

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы утомляете меня своим сожалением?

— Потому, что вы, ослепленный пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастной ревностью, а быть может, и самую мелочную завистью, скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский, что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество! Почти женится, и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева. — Ложь! Одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле. — *Любовь и кровь* старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однако ж не испытывайте меня далее, Гремин; не заставляйте насказывать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас не лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства, я не вымаливаю у них покровительства; моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад.

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

## VIII

Я был отважно хладнокровен;  
Но признаюсь, на утре лет  
Не весело покинуть свет  
И сердца бой не очень ровен,  
Когда вопросом: «Быть нль нет?»  
Вам заряжают пистолет.

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало изведала она свет, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым

предрассудком, а необычайная угрюмость и принужденная шутливость брата, весть, что он очень крупно говорил с князем Гремичным наедине, и позднее посещение незнакомаго офицера возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Гремичным. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание; белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вешнее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать,—она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топились печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— *Bonjour, capitaine!* — сказал артиллерист входящему. — Все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа; мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностью.

— О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уж случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полстола, и как мы ни бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один

---

Здравствуйте, капитан (фр.).

попал другому прямо в лоб, где всякая пуля — и менее горошинки и более вишни — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже; оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л\*\*\*ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел? Шельмы эти оружейники; они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелцкого клоба!

— Однако ж не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, г. ротмистр?

— Я вчера посетил двоих и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае, я берусь привести с собою доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случилось прямо с постели увозить его на поле, и он решался не колеблясь. «Я очень знаю, господи, — говорил он, навивая бинты на инструмент, —

что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества! Но что удивительнее всего — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству в медицине. Валерьян Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренностей, если они сохраняют свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двухместной ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах.

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было, и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это; но, при-

знаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они прнехали на поле, все равно что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся! — вскричал нетерпеливо старику слуге артиллерист, бросив пару их на пол. — Они шероховаты и с пузырькамн.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза. — Я никак не могу удержать их; так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барнну, — какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога, отведите барнна от греха или от беды своей, уговорите, упростите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сим, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе расплакаться как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином, ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненные умирают, притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого, — повторила она, упавая в кресла, — убитого!

Мысли ее помутнились... Страх ледяною рукою своей сдвинул сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... Разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния, немого, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста — выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать дающего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забытия, подобно Мемновой статуе в пустынях Пальмиры.

— Где братец? — спросила она, вставая.

— Уехал! — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбка надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли свратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремينا. «И он, которого я считала благоразумнейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом — брату, жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди», — думала она. А между тем часы текли за часами, било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... Еще четверть, еще... И она воскликнула:

— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!

Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осеннла свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою, — свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, за видя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд во все не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертию

тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье...

Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дня — и нет ответа... — думал он. — Это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее пережевывать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем-человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружба — прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! Необыкновенная смертная, ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен взаимностью, сойду в могилу — и за тебя! Алина! Алина! ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре; таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой, по той же самой причине, она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были

вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости; совесть громко укоряла его в обиде старого друга, — и для чего, для кого? Для той, которую уже давно не любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастье сопернику, из пустого тщеславия! Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги; все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду непременно должныствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения «и любви», приговаривало сердце, «и, может быть, равнодушной к тебе», шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал как труба и заглушал все кроткие, все хорошие ощущения.

— Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решение. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в душе моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому.

— Все готово, князь! — сказал секундант его, распахивая дверь. — Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и, между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще больнее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми — соперники, чтобы показать свою смелость, а секунданты, чтобы поддержать ее.

Валериан, познакомясь на переезде с доктором-ори-

гиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками, так, как в старину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что, при всеобщем усовершенствии наук, нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины, а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости, или пороков, или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор... — прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару, — решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению, — это статья по вашему департаменту.

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями, не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клинкою, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два зла вместе, — пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части,— сказал, улыбаясь, Гремин,— мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор: откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула,— отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? — сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик.— Золото — слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...

В это время послышался стук у двери.

— Боже мой! — воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие.— Не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского,— произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ничего!».

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама,— сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный.— Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин,— отвечала Ольга с гордою твердостью.— Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... Но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений, пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни,— но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровавадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за моги-

лой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неуголимого плача по нем. Что станет тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя? Как мало жила я и как несчастна, что дожидая ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он стал тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почтя безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею жизни.

— Нет, нет! Существо неземное! — воскликнул Гремин, — свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана! Ольга! ваше великодушное победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор! я прошу у вас извинения в своей горячности; очень сожалею о том, что вчера произошло между нами, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелнинский, вовсе не ожидая такой развязки, перчитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однако ж очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение,— сказал он,— кто сам имеет нужду в прощении,— и друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты! скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости,— отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество,— возразил артиллерист, сжимая руку майору.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно, но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит?! — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:

— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться! — упала к нему на грудь бесчувственна, голос его смягчился...

— Ольга! Ольга! что ты сделала? — произнес он печально. — Невинная, неопытная душа! ты погубила себя!

Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг! — сказал глубоко тронутый князь, — не уничтожай меня; я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... И если сердце ее не занято... если... я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь! я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастии сестры!

— Валериан! не разрывай могил минувшего... Кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю,— сказал Валериан, пожимая руку друга, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя. — Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных; но, кроме благодарности, здесь есть некто желающий получить награду, заслужив наказание; он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... Доканчивайте, князь Гремин!

Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток,— сказал он, приближаясь к Ольге,— как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности, я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды.

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностию! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... Все сны, все мечты ее разгадались; она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение; наконец она приклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремину, и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это; друзья мои! вот письмо от Алины,— примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

— «За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его, но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла

воля, в горе и счастье я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов; теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир и через два месяца — о сладкая мысль! — я буду уже иметь священное право называться *твоею* Алиною!»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака.

— Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у дверца.

— Господа! — сказал он, — милости просим ко мне откусать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря, сверх того, за их участие, прошу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремня!

Он умчался при радостных приветях.

Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сест в карету:

— Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем похороны.

— Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому, — отвечал доктор, садясь в сани.

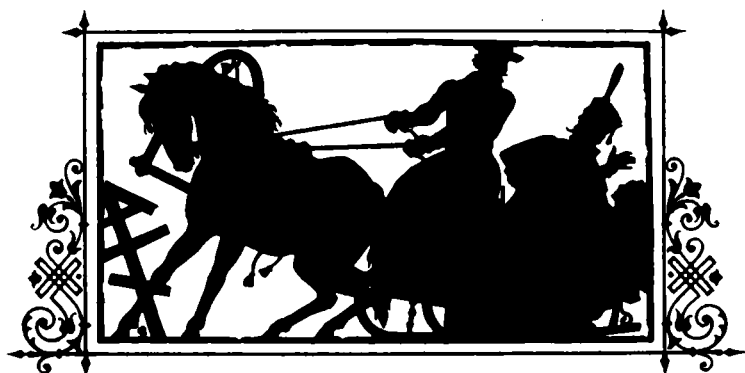
— Теперь, однако ж, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах масленицы. Валернан ждет вас к дружескому обеду.

— Непременно буду, охотно буду, но теперь еще рано, я заеду к себе приписать кое-что к диссертации.

— Конечно, о страстях устрицы! — сказал Гремня, улыбаясь.

— Напротив, об удачных глупостях человека, — возразил доктор.





## СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ

*Рассказ*

*ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕТРУ СТЕПАНОВИЧУ ЛУТКОВСКОМУ*

Давно уже строптивые умы  
Отринули возможность духа тьмы;  
Но к чудному всегда наклонным сердцем,  
Друзья мои, кто не был духоверцем?..

...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее,—они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть ка-

тится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд; перед любимой женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверенности, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее,— душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока,— говорила она,— но всегда ли далеки от слабости? Кто пытается часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видаться!

Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что

боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал,— я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постеле своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестящая наружная веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разлитое море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дынуть одним с нею воздухом, послушаться ее голоса, молвить последнее *прости!* Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшвни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел,— катай!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж

улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою кнたいкою, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и жаренные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предвидением:

— Ну, барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул — и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскака: они понесли нас.

Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валеки ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удил только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвывая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротою путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились наконец измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:

— Где мы? — спросил я ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай бог памяти, барин! — отвечал он. — Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андропова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барин! — отвечал он. — В добрый час молвить, в худой помолчать, мы, никак, заехали к Черному озерку!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, — возразил ямщик. — Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.

— Что ж, поцеловал ли он красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых венников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допытались: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак лонесь повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет...

— Побереги свои побасенки до другого случая, — возразил я, — мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка зашекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду

нашу, небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птички и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, — и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленну и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливецом, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьей шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер пронизал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и заморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опущенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь и пустыня окрест!

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, пронизаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед богом,— сказал он,— что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвояет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостью:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дровозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна сукоикою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о неожиданном госте. Ряды молодежи в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не че-

ловеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вяза». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава богу на небе,  
Государю на сей земле!  
Чтобы правда была  
Краше солнца светла;  
Золотая ж казна  
Век полным-полна!  
Чтобы коням его не изъезживаться,  
Его платьям цветным не изнашиваться,  
Его верным вельможам не стареться!  
Уж мы хлебу поем,  
Хлебу честь воздаем!  
Большим-то рекам слава до моря,  
Мелким речкам — до мельницы!  
Старым людям на потешенье,  
Добрым молодцам на услышанье.  
Расцвели в небе две радуги.  
У красной девицы две радости,  
С милым другом совет,  
И растворен подклет!  
Шука шла из Новгорода,  
Хвост несла из Бела озера;  
У щучки головка серебряная,  
У щучки спина жемчугом плетена,  
А наместо глаз — дорогой алмаз!  
Золотая парча развевается —  
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы лётом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было сенок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогенов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

— Да изволишь знать, твоя милость,— примолвил один красобай, встряхнув кудрями,— теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом— не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовый мохнатой лапою на богатество, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать!— вскричало несколько тоненьких голосков.

— Чего полно?— продолжал Ванька.— Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчера видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристаёт: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.

— Нет, барин,— примолвил другой,— хоть россыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

— И ведомо,— сказал третий.— Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

— Полно брехать,— возразил красобай.— Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолк-

нута на грех. Не слышали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых святках?

— А что такое? — вскричали многие любопытные. — Расскажи, пожалуйста, Ванюша; только не утоми с ужаси.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крикнул протяжно, оправил правой рукою кудри и начал:

— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть — за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал, — ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозвется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал на прокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать и чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух мгнов... слышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

— С нами крестная сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. — Наше место свято! — повторила она, не могли отвратить взглядов от поразившего ее предмета. — Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой; парни

кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось,— сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен.— Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришелец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами.— Пускай где взял, там и отдает мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посылки,— сказал мертвец страшным голосом,— я здесь! Чествуй же гостя и проводи его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в ворота, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сених под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на петлях, и мертвец шаст в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубя-

щийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особго вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь. — Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить ниходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, — кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим именем жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

— Не правда ли, сударь, — сказал он мне после некоторого молчания, — вы любуетесь невинностию и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских баблов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают

на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодежи и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодых прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодых, вольные выражения срывались с губ, и, слушая рассказы незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах

подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То, по крайней мере, высказывал насмешливый взор и тон речей; так, по крайней мере, мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою об стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:

— Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно, осмеленный даровым ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрашаю, барин,— сказал он,— есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

— Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный спрос,— отвечал я,— он бы унес ответ на боках своих.

— И, батюшка сударь,— возразил он,— будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще менее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барин! — сказал молодец. — Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу?

— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомойника...

— Ну, барин,— промолвил он, понизив голос и склоняясь над моим ухом,— если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда

все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть; на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополому гадалею, что он или дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, **вовсе** не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

— Вы, верно, не пойдете,— сказал он сомнительно.— Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

— Напротив, пойду!..— возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу.— Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познаться покороче с лукавым,— сказал я гадалею.— Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?

— **Теперь** он рыщет по земле,— отвечал тот,— и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему влеченью.

— Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по своему хотенью,— произнес незнакомец важно.

— Мы будем гадать страшным гаданьем,— сказал мне на ухо парень.— **закляв** нечистого на воловьей коже. Меня уж **раз** носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал,— примолвил он, бледнея,— того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуреваем. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняют у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги.— Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

— Напрасно, сударь, изволите идти: воображение —

самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки, — сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру, — и она-то будет нашим ковром-самолетом. — Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы повернули на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды, и темь ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность. — Здесь! — повторил он. — Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из стеклянки и потом, задушив петуха, чтобы он не кркнул, отрубил его голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкуп?

— Нет! — сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, — черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которою если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, — подумал я, — тогда и ум, и любезность, и красота самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

— Да все равно, — продолжал он, — можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дыравый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок — неизменная уда на сердце; а коли больно наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения, — думал я, — для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произнес гадатель. — Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковверен, следовательно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолуди-

нов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! — думал я. — Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчизною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля — еще прекраснейшие миры и еще тяжчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несясь передо мною...

«О! зачем мы живем не в век волшебств, — подумал я, — чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, — ты была бы моя, Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, пронзносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежною глыбою...

— Идет, идет!.. — воскликнул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастаая, налетел ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал

по членам... Земля звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...

И что же? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скупал вам, поторопившись нахрабить себя сначала; мудрено ли, что таким гадалеям с перепою видятся чудеса!

И между тем злые очи его пронизали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой... — отвечал он лукаво. — Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею. Мой иноходец, могу похвалиться, бегаёт как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в саночки.

— Поберегите их у себя, — отвечал незнакомец, садясь со мною рядом. — Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезн, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по закраинам полыней. Между

тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочится за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не за- травил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постоя... Прокурор блучил недавно пирог с золотою начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего чело- века, и проч., и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,— дивлюсь еще более, как они могут быть тебе из- вестны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не уста- реет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и реб- ятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бед- няшкам нежным сердцам, чтобы свидетися, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы от- важного обожателя, который не бонтся ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно,— отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально.— А я бы прозаклады- вал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою го- лову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схва- тив незнакомца за ворот.— Я заставлю тебя высказать,

от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас,— вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру,— сказал он хладнокровно, однако ж решительно.— Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжего дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копьё. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу,— все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливмья. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опухшими очами, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том,

что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть, навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором,— или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не внимания внушениям сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,— но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною случилось, когда, обвиняя тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проникали сквозь дымку,— я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнующие моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины и

кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз *люблю* на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих,—я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжеского дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и на ней в беспорядке, сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,—я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый шелк кидал меня в пот и холод... И наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я,— И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнью!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробежал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.— Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала. домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись.— Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! — примолвил он, заметив Полину.— Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гонясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решил.

— Полина! — отвечал я.— Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как

ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. — Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на саних, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вокруг плетней, вправо, влево, под гору, — и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огненным потоком. Небо ясно, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла, — возразила она, — и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, — думал я, — так вот те очаровательные слова *я твоя*, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее, чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо

незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый,— столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем слышали мы за собой топот погони.

— Скорей, ради бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я. — Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта, — отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. — Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю. — Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь, сударь, — хладнокровно возразил мне незнакомец. — Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяж-

кий грех в прибавку? — примолвил он, обнажая злой усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и наконец выскочил из-под недвижимого трупа и с бешенством кинулся к нам; это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет более владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий оболститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благородного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времен по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностью моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что случилось тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютей зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзи-

тельный крик, одно клокотанье крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед.

Еще насытый мстью, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, я знал ее во многих и сам изведal на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неизмеримо долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровою жадностью, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. — Мертв! — повторил он. — Пускай же мертвые не мешают живым, — и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду, — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад, — отвечал он значительно.

Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно. — Едем!

— До бога высоко, до царя далеко, — произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие. — Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к сѣням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое расторглось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностью, или, лучше сказать, безнравственностью, еще горячий мстью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увести чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе, — знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, — и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет,

нет! Мое счастье исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.

— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и наконец стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежерытою могилою, на краю которой стояли сани.

— За такую красотку не жаль души, — примолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И наконец я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжелое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираясь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все бывшее наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте,— это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.





## ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР

### ГЛАВА I

Прощай, прекрасная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
С неподражаемой красой!

*А. Пушкин*

В то время, когда полчища Наполеоновы праздновали в Москве собственную тризну, русский флот, соединенный с великобританским, под командою английского адмирала, блокировал при голландских берегах флот французский, запертый во Флессингене. В самое бурное время года, в открытом море, на ужасной глубине, лежал он на якорях в беспрестанной борьбе со стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воздвигшаяся со дна, стоял неподвижно,— и неслыханная дотоле блокада сия доказала свету, что русские и англичане умеют торжествовать не только над гением человека, но и над всеми силами природы.

В октябре месяце бури были ужасны и продолжительны; кто терпел их в море под парусами, тот может судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает ее всею силою и обрушивается на нее всею толщею своею. Корабль стонет и дрожит тогда, как прикован-

ный великан, бессильный убежать от валов или всплыть на них. Продолжительный, тяжкий скрип расходящихся членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в блоки и шум ударяющихся снастей — наводят тоску на сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто ждут чего-то рокового, и только изредка слышится голос вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повелителя стихий; пронзительные свистки отвечают на призыв его: море бушует.

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октября, сокрушил на берегах Англии и Голландии множество судов. Ночь эта была страшна для осаждающих; вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на якорях или, в случае обрыва, вступить под паруса для избежания неминуемого кораблекрушения при берегах. Посреди мрака и воя ветра повременно сверкали пушечные выстрелы, возвещая «бедствую!», фальшфейеры искрились, как блудячие огоньки над могилами, — корабли ежеминутно были в опасности свалиться.

Рассвет оказал всю бедственность их положения: линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух якорей; на многих переломаны были стеньги и реи; иные, сорванные со стопоров, высучили канаты и под штурмовыми парусами боролись вдаль с вихрями; почти у всех изорванные и спутанные снасти висели в беспорядке, отопленные накрест нижние реи придавали еще более дикости виду их; волнение ходило горами. Картина была ужасная!

На русском корабле «Не тронь меня!» оказалась сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь на каменную гряду подводных камней, которая на полмили простиралась в море параллельно с берегом. Прибой к ней, производящий неправильное волнение, называемое моряками *толчей*, всего более раскачал связь уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, вооружили цепные; матросы работали неутомно, но гибель была недалеко: вода лилась в расходящиеся пазы, и как ни равняли канаты, но то один, то другой вытягивался в струну, готовясь лопнуть; офицеры с недоверчивостью поглядывали на третий. К счастью, с рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще сильный, но волнение и качка стали правильнее. Мало-помалу все начало приходить в порядок: выстроили линию, убрались с повреждениями. Веселость возврати-

лась к усталым пловцам, лишняя чарка водки — и все забыто.

В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене вахт, вступающий в должность лейтенант, осмотрев все работы, подошел к капитану, ходившему по своей стороне шканцев, для рапорта о состоянии корабля.

— Господин капитан,— сказал он, приподняв свою круглую шляпу,— вахта принята благополучно, ветер сильный норд-норд-вест, глубина по лоту семьдесят восемь сажен, канатов на битенге по сто девяносто первой, воды в льяле...

— А что помпы — помпы, Николай Алексеич? — прервал его капитан, беспокоясь о течи.

— Все исправны; мы их держим на храпу,— отвечал лейтенант.— Не будет ли каких приказаний, капитан?

— Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме благодарности вам за то, что вчера заране успели спустить марсарен. Опоздай вы часом, наверно бы не удержались на якоре, да не мудрено потерять бы и рангоут, а без него плохая шутка: разом повиснешь на какой-нибудь скале устрицею или пойдешь на дно хватать морские звезды!

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа его была надвинута на самые уши; пестрый шотландский плащ играл около его тела; в руках держал он лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На слова капитана он улыбнулся с довольным видом.

— Это игрушка,— отвечал он,— когда мы хозяйничали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стеныги спускали в четверть часа.

— Ныне это признано вредным, Николай Алексеич,— возразил капитан, пускаясь опять ходить,— снасти и венты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру большую площадь, нежели на выстроенной стене.

— Хорошо, что здесь нет осенью тифонов,— продолжал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у которого снял он должность,— а то поневоле бы стали делать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед заутреней, выются около носу; но если страшно попасть к ним в передел, зато весело глядеть, как они образуются и рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как

ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вытягивается ниткою на вихре, то бежит столбом, и между тем как молния обвивает его и море кипит, словно котел, видно, как смерч пьет воду.

— Плохой же он моряк, Николай Алексеич, — отвечал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают для кампаний в флотские должности по чинам, — Белозор был из числа их. — Я уверен, что наши балтийские тифоны, — примолвил он, — бывают опаснее для пуншевых стаканов, чем для заливов и проливов соленой воды.

— Конечно, так, моя невская яхточка, — ему бы следовало поучиться у нашего брата, старого моряка. Вода создана для рыб и раков, вино — для женщин и детей, мадера — для мужей и воинов, но ром и водка — для одних героев.

— Следственно, бессмертие для меня закупорено на веки: я не могу равнодушно глядеть на бутылку с ромом.

— И я тоже, любезнейший, и я тоже; у меня сердце бьет рынду, когда я завижу ее. Послужи с мое да испытай столько же бурь, тогда уверишься, что добрый стакан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так два ума в голове; на валы смотришь, как на стадо барашков, и стеньги хоть в лучок гнутся — и горюшка нет!

— А какова была прошлая ночь? Если б не темнота, и на твоём лице, Николай Алексеич, полюбовались бы мы миловидною бледностью.

— Черт вытравил мою душу, если мое лицо не столь же мало сделано для румянца, как и для бледности. Буря — моя стихия. Подавай нам почаще таких ночей, по крайней мере не заржавеет; а то скука возьмет, стоя на якоре до того, что он пустит корни, как пульс, ошупывать канаты и сквозь сон покрикивать: «заложить сейтали, — не зевать на стопорах!» То ли дело шторм? Уму, и рукам, и горлу раздолье; вся природа пляшет тогда по дудке твоей!

— Слуга покорный за ваше раздолье... Вчерась я промок до самой души, проголодался, как морская собака, и должен был холоден и голоден отправиться спать,

потому что нельзя было развести огня ни под котлом, ни в камине. К довершению удовольствия, меня дважды выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу, как в решето, лилась вода струями.

— Ах ты, пряничная рыбка, любезный мой Виктор Ильич! Тебе бы хотелось небось, чтобы корабли плавали в розовом масле, ветер только целовал паруса, выкроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали бы только повахтенно с красавицами!

— Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слушать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать отправления в безызвестную экспедицию.

— По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или сердце. Когда ты обманом прибуксировал меня в доме Стефенсов, я не знал, в которую сторону обрасопить нос... Пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я обходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. А пуще всего, эта проклятая мисс Фанни навела на меня зажигательные свои глазки так метко, что я готов был бежать от нее по пятнадцати узлов в час... Да ты не слушаешь меня, рассеянная голова!

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стремился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль его попала на проторенную дорожку — на женщин. Подобно голубю, отпущенному с ковчега, она летела в край неведомый и возвратилась с веткою маслины. Заветный берег казался ему раем: там живут добрые, умные люди, там цветут красавицы, и в них, может быть, бьются сердца, готовые любить и достойные любви!.. Двадцать пять лет — опасный возраст, милостивые государи, особенно для людей, заключенных в плавучем монастыре, и Белозор, волнуемый болезнью, которую мы привыкли называть молодостью, воспламенился пред неясною, неопределенною мечтою своего создания. Он так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто в ней зарыли клад его счастья, невозможность подстрекала еще больше его любопытство побывать там, и он, любясь на плотины, о которые оперлось море и из-за коих виднелись только мачты кораблей, как подводный лес, да там и сям крылья мельниц и стрелы колоколен, хотя и не выронил слезы, которая бы очень романически

сорвана была вихрями и слилась с бездной океана, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко. Не могу скрыть этого важного обстоятельства, как верный историк и покорный слуга истине.

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и скоро обратился в шторм; но как все предосторожности были приняты, экипаж с уверенностью ожидал ночи. В это время в тесном горизонте показались паруса трехмачтового корабля, идущего с океана. Гонимый бурей, он быстро приближался к флоту под рифмарселями. Скоро разглядели, что это военный английский корабль, красный флаг его сверкал как молния в тучах. Все трубы, все глаза обратились на пришельца.

— Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на якорь в такую бурю! — сказал лейтенант Белозор.

— Он просто сумасброд, — прибавил вахтенный лейтенант, — форсирует парусамн, входя в линию, когда в одни снасти дует так, что нельзя справиться. Посмотри, как гнутся его стены, мне кажется, я слышу, как трещат они. Или у него в кармане есть запасные мачты, или черти вместо матросов.

Опознательный флаг взлетел на адмиральском корабле и повторился на репетичном фрегате, который нарочно стоял на виду за линией, но приближающийся корабль бежал вперед, не отвечая.

— Что это значит?! — вскричали многие с изумлением. — Нет ответа!

— Он держит прямо на каменную гряду, — с беспокойством сказал вахтенный лейтенант. — Смотреть хорошенько сигналы.

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот-стенге.

— Нумер сто сорок три! — закричал штурманский ученик. Лейтенант развернул сигнальную книгу.

«Идущему с моря кораблю войти в линию и лечь на якорь подле флагманского, слева».

— Есть ли ответ? — с нетерпением спросил вахтенный лейтенант.

— Никак нету-с, — отвечал штурманский ученик. Недоумение и страх всех возрастали с каждой минутой.

Тот же сигнал повторился, но с выговорной пушкой, — корабль, как будто не обращая на то внимания, катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал поднимал остерегательные сигналы за сигналами, он

не убавлял парусов, не переменил направления; все с замиранием сердца смотрели, как он неся к верной гибели.

— Он не понимает наших сигналов,— вскричал вахтенный лейтенант,— он, верно, идет не из Англии для освежения наших кораблей, а с океана; только неужто незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах!

— Он погибнет,— произнес Белозор,— если сию же минуту не ляжет в бейдевинд!

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вскочив на сетку и наклонившись всем телом вперед, так увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кричал им по-английски:

— Don't skid away, my boys! Hand a port and close up to the wind! Не держи прямо — лево на борт, и круче к ветру! Лево на борт! — повторял он, махая шляпой, как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев бури.

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески бурунов, которые, как печь, дымились прямо перед их водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, рен обратились вдоль корабля, передние паруса заполоскались с отданными шкотами, и бизань, самый задний парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, быстрее поворотило судно боком, но не успела бизань наполниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по воздуху.

— У него отбит руль! — произнес вахтенный лейтенант, отвращая глаза. — Ему нет спасения!

Мертвая тишина воцарилась между зрителями. Сожиданием, расторгающим душу, устремили все глаза на жертву, которую влекла неумолимая судьба к бездне. Страшно видеть смерть и одного человека, но быть свидетелем гибели многих сот товарищей и не иметь возможности помочь им — неизъяснимо ужасно!

Обреченный смерти корабль, — будто корабль-привидение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь на страх им, — лишенный средств управлять бегом, с новой быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тревога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки унижены были матросами, они простирали руки, прося о помощи, и напрасно: последний час их пробил.

Со всего расходу ударился он о подводную скалу. Этот удар отдался в сердцах всех наблюдателей, исторгнув из них стон сострадания. Стеньги, мачты, самая громада корабля разрушилась в обломки и в один миг; паруса, затрепетав, разлетелись, как перья, огромный вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незримые утесы.

— Все кончилось! — сказал Белозор, сплеснув руками в тоске отчаяния. В самом деле, там, где за минуту был корабль, теперь кипели одни буруны, распрыскиваясь по-прежнему друг о друга, и только вихорь завывал, только алчное море ярилось и бушевало.

— Флагман поднимает сигнал, — закричал с юта штурманский ученик. — Нумер двести семь: помочь утопающим.

— Благородное приказание, — сказал капитан, следя глазами трех человек, которые всплыли на реке и, заливаемые волнами, боролись вдали со смертью. — Благородное приказание, но его невозможно исполнить.

— Стыдно будет русскому находить в том невозможность, что англичанин признает за достойное, — с жаром возразил Белозор. — Позвольте мне, капитан, взять какое-нибудь гребное судно.

Капитан, вполтину недовольный противоречием, вполтину изумленный смелостью Белозора, строго взглянул на него и отвечал:

— Я не могу вам запретить этого, господин лейтенант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не спасете, а себя утопите.

— Я рад гибнуть там, куда призывает меня долг чести и человечества. Итак, я могу?..

— Можете; я позволяю, но не советую вам. Все большие гребные суда на роствах, а мелкие — все равно что гроб.

— Я готов пуститься в решете, — вскричал обрадованный Белозор, — веселей гибнуть вместе с другими, чем глядеть, сложа руки, на их погибель. Охотники, за мной!

Там, где дело идет о великодушной смелости, между русских солдат в охотниках не бывает недостатка. Человек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но он, выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу своему Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, висящую на боканцах, при кликах товарищей: «Благополучного возврата!»

Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были обрезаны, и он полетел в развёрстую пучину.

## ГЛАВА II

О боже! Как мучительно казалось мне утопление! Какой ужасный шум воды в ушах моих! Какие отвратительные зрелища смерти пред глазами! Мне снилось, будто я вижу обломки тысячи страшных кораблекрушений, тысячи трупов, конх грызли рыбы, слитки золота, огромные якоря, груды жемчугов, неоцененные камни и украшения, разбросанные в глубине моря; иные сверкали в человеческих черепаках, во впадинах, где витали некогда очи!

*Шекспир*

Ниспав с вышины борта двухдечного корабля, шлюпка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва-едва успели шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел поставить мачту и поднять до половины парус. Когда он оглянулся, флот был уже далеко назад, и он чуть различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, который следил взорами бесстрашного друга. Рей, на котором спасались утопающие, порой виден был, всходя на валы, мелькая концом паруса; но этот самый парус, вздуваемый иногда ветром, заставлял обращаться рей беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб дышать воздухом, строптивное бревно топнло их снова и снова, и, когда подоспела помощь, силы их оставили: Белозор уже никого не нашел на нем.

Пожалев о безвременной гибели утопших, надо было позаботиться о собственном спасении. Нечего было и думать о возвращении на корабль против ветра и волнения; Белозору оставалось одно средство — отдаться произволу стихий и попытать счастья пристать к берегу, чтобы на нем провести ночь и переждать, покуда стихнет буря. Вздумано — сделано. Правя гораздо левее города, он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или плен сторожили его. Он хладнокровно смотрел на влажные утесы, с плеском и воем наперерыв догоняющие утлую ладью. Кня, склонялись они кудрявыми глава-

ми над кормою, готовясь обрушиться, рушились и выносили ее на хребте своем, как ореховую скорлупу. Сам Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а двое остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное лицо начальника, они полагали себя в полной безопасности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали между валов огни городские и послышался ропот прибоя, словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, притаив дыхание, крестились, ожидая удара; страшно плескалось и стонало море между камнями.

— Не робей, ребята! — говорил Белозор своим людям. — Куртки долой, и, если опрокинет, хватай весла, и чуть коснулся дна — карабкайся дальше, чтобы другой вал не утащил опять в море! Держись!

Как щепку взбросило ялик на бурун, и стремглав ударило его на камень. Перекинутые через эту водную стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы наш спасены были только веслами, за которые они уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. Уже все матросы были на берегу, но Белозор не показывался. Добрые матросы бежали навстречу каждому валу, думая выхватить из него любимого начальника, но он разбивался в пену, убегал, набегал снова, — и все напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым правил, и он-то дал ему силы удержаться на толчее, в которую попался; мощный вал далеко выбросил его на берег.

Притаясь в кустах ив, коими обсажены все голландские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество русского народа, и тут их не покидала.

— Ух, какой ветер! — сказал урядник, пожимаясь. — Чуть душу не вывеет.

— Держи крепче зубами, — возразил другой.

— Шути, шути! — отвечал урядник. — Выползли мы, как раки, чтоб не замерзнуть, как ужам после воздвиженья.

— А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим сапоги, а сами надрожимся до поту, — прибавил третий.

— Уж этот месяц! Светит, а не греет, — даром у бога хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы стало теплее, — сказал четвертый.

— Жаль, брат, что ты раньше не догадался,— возразил второй,— из глаз у меня, как с огнива, искры посыпались, когда головой ударился о плотину.

— Что вы раскудахтались, словно куры в корабельной клетке, не даете доброму человеку заснуть,— сказал третий матрос.— Спи, Юрка, небось нашему брату не впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чарку в головы, лег— свернулся, встал— стряхнулся.

— Лечь-то ляжешь, и в бараний рог свернуться нехитро, а уж вставать-то как бог даст,— отвечал Юрка.

— Вот нашел, о чем заботиться,— примолвил урядник,— показать только линек— и так благим матом вспрыгнешь, словно заяц с капусты.

Так шутили между собой полунагие матросы и между тем зябли без всяких шуток. Белозор, который желал теперь быть за тридевять морей от земли, которая за несколько часов казалась ему обетованною, напрасно завертывался в мокрую шинель свою,— холод оледенял его члены.

— Вставай, ребята!— сказал он наконец.— Пойдем искать ночлега; авось набредем на добрых людей, что нас не выдадут, а утром, коли стихнет буря, захватим рыбацью лодку и опять в море!

Так передавал он подчиненным надежду, которой не имел сам.

— Только не расходитесь,— примолвил он, пускаясь вперед по плотине,— да не говорите громко по-русски, чтоб не наделать тревоги!

— Меня не узнают,— уверительно сказал Юрка,— я таки маракую толковать на их лад.

— Где же ты выучился говорить по-голландски?— спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь переводчика.

— Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Виктор Ильич, так промеж них наметался по-татарски.

— И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь болтать им по-татарски?

— Как не понять, ваше благородие,— ведь все одна нехристь,— отвечал очень важно Юрка.

Сколь ни печально было положение Белозора, но он не мог удержаться от смеха. Запретив, однако ж, своему доморощенному ориенталисту выказывать свою ученость, он, как новый Эней, вел маленькую дружину куда глаза глядят. Долгая узкая дорога, насыпанная

валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда — рассмотреть было невозможно. С обеих сторон то просвечивали болота, то чернелись ямы турфа, подле коих возникали пирамиды его, изрезанного в кирпичи. Шумный ветер препятствовал слышать какой-нибудь голос.

Прошедши таким образом версты две внутрь земли, наши путники обрадованы были журчанием воды, как будто прорывающейся сквозь затвор мельницы, и скоро достигли до уединенного каменного строения, примыкающего к шлюзу огромного болота. Колесо не действовало, и вода, пущенная в русло, шумела там сильнее. На дороге не было окон, но по болоту змеялась полоса света, вероятно, из обращенного на него окна... Русские остановились в раздумье: идти ли, не идти ль им в средину.

— Ну что, ежели там французы! — сказал Белозор.

— Хоть бы целая рота чертей, ваше благородие, — возразил урядник, — все-таки лучше, нежели умирать с холоду.

— Я так голоден, что готов съесть жернова, — прибавил другой.

— А я так устал, что засну между шестернями, — присовокупил третий.

— Плен краше смерти, Виктор Ильич, — возгласили они вместе, — ведь французы нас не съедят!

— Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умудриться, чтобы за один ночлег не заплатить свободою; надо биться до самого нельзя, чтоб избежать плена; мельница далеко от другого жилья, а мы волей и неволей заставим хозяина скрыть нас, а утро вечера мудренее. Вооружитесь-ка чем попадется да войдем потихоньку!

Выдернув рычаг из ворот на подъеме шлюза, Белозор ощупью отыскал дверь; против всякого чаяния, она была отперта настежь. Вступая в широкие сени, которые служили вместе и мучным анбаром, насили доискались они между мешками входа в комнаты. С трепетанием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теплой и светлой поварне, в этой приемной палате голландцев. В огромном очаге, у которого стенки выложены были изразцами, а чело из красной меди, весело пылал огонь и близ него на вертеле разогревался кормный гусь. Светлые кастрюли дымились на чугунной плите. Кругом на полках из лакированного бука низалась как жар сверкающая посуда. Осанистые кувшины и жеманные

кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, красовались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали утиные шейки свои друг перед другом; высокие бокалы, как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старовечных чайников с длинными носами точно рассказывали что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домовитый порядок, пленительная чистота и какое-то приветливое гостеприимство. Самые блюда будто сверкали радушною улыбкою.

К удивлению, однако же, они не видели никого в этом приюте, словно духи приготовили ужин для голодных странников, которые с каким-то благоговением разглядывали все безделицы и поглядывали на яствы. Только у дверей на гладком кирпичном полу, свернувшись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась.

— Экая благодатная земляца,— сказал один матрос,— и собаке-то ночью службы нет!

— Она, брат, неспроста не лает,— робко молвил другой, указывая на зажженное ромом блюдо плумпудинга,— здесь все заколдовано.

— От часу не легче,— вскричал урядник, отворив двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщину со связанными руками и платком во рту.— Что бы это значило?

— Видно, говорлива была,— сказал другой.— Ведь хитрый же народ эти голландцы: умудрились пеленать баб, когда им нечего делать. Да этакую заведенцию и нам бы перенять не худо, а то как они разболтаются, хоть святых вон понеси!

— Да вот и мужinna! — вскричал третний, запнувшись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мельник, что можно было угадать по напудренному его платью, закрыв от страха глаза, лежал, связанный, на полу... Шум в следующей комнате прервал их рассуждение о странных обычаях в Голландии. Казалось, кто-то говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно упраскивали. Дверь была заперта.

— Отворите! — вскричал Белозор по-французски, внемля стуку и крику за дверью.— Отворите! — повторил он, потрясая задвижками.— Или я выломлю двери.

— *Quel drôle de corps s'avise d'y faire l'important?* Кто смеет там важничать? — отвечали ему многие голоса на том же языке.

— Отворите и узнаете!

— Va te faire pendre (убирайся на виселицу),— было ответом,— nous sommes ici de par l'empereur Napoléon (мы здесь по приказу Наполеона).

— Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и черепы ваши!

Громкий смех, перемешанный с выразительными клятвами французских солдат, вывел его из терпения; удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали в середину; неожиданное зрелище представилось глазам его.

Четверо французских мародеров, полупьяные, полуоборванные, заняты были грабежом; один, держа свой тесак над головой старика, сидящего в креслах, шарил у него в карманах; другой грозил карабином на прелестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде отца; третий осушал бутылку с накрытого для ужина стола, прибирая в карманы ложки, между тем как четвертый ломал штыком замок железом окованного сундука, который противился его усилиям.

— Halte là, coquins! <sup>1</sup> — произнес Белозор, и вышибленный из рук француза карабин грянулся на пол; вместе с этим он дал такого пинка другому, который грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня зашвистели еще, и один из них угодил прямо в бок ломающему сундук; он заохал и выронил штык из рук своих.

— Sauve qui peut, nous sommes cerné (спасайся кто может, мы окружены)! — вскричали испуганные мародеры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все это было делом одной минуты.

Старик голландец, одетый в китайский халат, с изумлением поворачивался на креслах то вправо, то влево, и на полном, как месяц, лице его, увенчанном бумажным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали облака сомнения: к какому роду причислить своих избавителей? Полдюжины полуодетых, или, лучше сказать, полураздетых, людей, с небритыми бородами и бог весть какого племени, заставляли его думать, что он переменил только грабителей, не избегнув грабежа. Восклицания: «généraliste Good<sup>2</sup>, два аршина с четвертью!» и потом aa, которое переходило в oo и кончилось ээ —

---

<sup>1</sup> Стойте, негодяи! (фр.).

<sup>2</sup> Милосердный бог (голл.).

двугласных, составляющих основу голландского языка и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на месте. Зато милая дочка его была гораздо признательнее и доверчивее; неожиданный переход от страха к радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных восклицаниях благодарила за избавление. Он раскланивался, она приседала, оба краснели, не зная сами отчего; старик поглядывал на ту и на другого.

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, благородное лицо юноши, голландец будто отдохнул.

— Кому одолжен я столь важную услугу? — спросил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая колпак.

— Человеку, брошенному бурей на ваши берега, который просит у вас не только гостеприимства, но и убежища, — отвечал Белозор. — Я русский офицер! — с сим словом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант свой.

— Русский офицер! — вскричал голландец, опускаясь в кресла, как будто эта весть придавила его.

Такое начало не много предвещало добра Белозору. Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов нового французского короля Луциана, и легко могло статься, что хозяин был одним из них.

— Могу ли надеяться найти в вас друга или по крайней мере великодушного неприятеля? Если вы не решитесь скрыть нас у себя на время, то не предавайте французам.

— *Stoop, stoop*<sup>1</sup>, молодой человек! — вскричал с жаром голландец. — Август ван Саарвайерзен никогда не был предателем, и все голландцы дружны русским со времен вашего Великого Питера, в особенности я; у двоюродного деда моей жены учился он плотничать в Заардаме. Я так же ненавижу французов, как и ты: от всего сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как свечку, своею континентальною системою и заставили меня, первого суконного фабриканта в Флессингенском округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. Правда, я от этого подряда не в накладе, но слава, слава моих сукон пропадает теперь... А какие у меня делались сукна! Мягче бархата, крепче кожи — и шири-

---

<sup>1</sup> Стой, стой! (голл.)

ной в два аршина с четвертью, sapperloot! <sup>1</sup> Ты у меня безопасен на несколько дней вместе со своими земноводными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, приятель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за рюмкою мы потолкуем, как все уладить.

Ван Саарвайерзен вывел матросов в поварню и поручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они уже разговаривали между собою, болтая каждый без умолку по пальцам и языками, будто понимая друг друга как нельзя лучше. Виктору же указал он небольшую комнату, принес ему стеганный халат, сухого белья — одним словом, ухаживая как за сыном.

Через четверть часа наш герой явился в столовую, хотя странность наряда пугала его более, чем неприличие в нем показаться на глаза красавице. Необходимость, впрочем, служила ему и убеждением и извинением; только он никак не согласился надеть на голову пенковый парик от простуды, несмотря на все увещания хозяйна.

Ужин был подан.

Белозор будто ожил, мало что ожил — будто вновь одушевился. Благотворная температура комнаты, вкусные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость миловидной девушки развернули его ум и чувства необыкновенною веселостию. Он чокался с хозяином, смеялся с дочкой его, бросал ему шутки, ей приветы и, несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал работать ложкой и вилкою. Таков человек, многостивые государи, такова вся природа: жаворонок с неба летит на землю за червячком.

Получив хорошее воспитание, ограниченное, так сказать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться по-французски, а немецкий язык был ему почти природным по матери, урожденной эстландке, и потому беседа их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взглянув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме Саарвайерзена.

— Ну, герр Виктор, — сказал хозяин, отдыхая от смеха, — ты чудо малый, и мы с тобой скоро не расстанемся!

— Не нахожу слов выразить мою благодарность...

— Да, пожалуйста, и не ищи: ты вперед заплатил за

---

<sup>1</sup> Тьфу! (голл.)

постой. Знаешь ли, от какой потери спас ты меня своим неожиданным приходом? Sapperloot! Это не безделица: я получил сегодня от французского комиссарства за сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо мародеров, наверно, захватили бы их в плен, если б успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати упал, как с облаков.

— Скажите лучше, выброшен из кита, словно Иона; однако ж, если мне удалось испугать нескольких бездельников, самому придется бегать добрых людей не лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучиные мешки, герр Август?

— Не думаешь ли, приятель, что Август ван Саарвайерзен, первый фабрикант своей области, живет на мельнице? Два аршина с четвертью! Нет, брат, это случаем остался я здесь ночевать, запоздав счетами с своим мельником. Карету я послал в город кой за какими покупками, и завтра мы преспокойно покатаемся в ней на завод мой — флаамгауз. Матросов твоих оденем в фризские куртки и, пускай не погневаются, запрем на заводе в особую комнату, и вон ни ногой: выдадим их за машинных мастеров для станков нового изобретения; такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в дальние родственники; будто приехал из Франкфурта погостить и поучиться порядку; а между тем прищем верных людей, которые бы взялись доставить вас мимо брантвахты на флот. Теперь это нелегкая вещь: строгость неимоверная, время осеннее; но пусть говорят что угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде!

Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия; мысль, что он проведет несколько дней близ Жанни (так называлась дочь хозяина), делала его счастливым. Несколько дней — это целый век для юноши, так, как червонец — нестоимая казна для дитяти. Воображение надувало своим газом шар его надежды, и сердце мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романтической встречи занимала его более, чем истинное желание. Полон любовной чепухой, раскланялся он с добродушным голландцем и с резвою его дочкою, — и сон, как пуховик, охватил восторженника своими ласкательными крылами.

### ГЛАВА III

In slumber, I pry thee how is it,  
That souls are oft taking the air,  
And paying each other a visit,  
While bodies are — Heaven Knows where?

Thomas Moore <sup>1</sup>

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и платят друг другу визиты, между тем как тела бог весть где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, пробужденный звоном серебряного колокольчика в комнате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего мечтанья, в котором образ милой голландочки играл, кажется, не последнюю роль.

Он улыбнулся и вздохнул, заметив, что прильнул устами к подушке, которую страстно прижимал к груди своей, но, вспомня, что одно ласковое слово наяву лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, повернул кран, вделанный в стене, и, с помощью душистого мыла, щеточек и гребеночек, сгладил с лица своего все следы кораблекрушения. Туалет юноши короток: ему стоит только освежить то, что даровала природа, между тем как человеку в летах надо не только скрыть недостатки, но еще подделать красоты, которых уже нет. К большому удовольствию, Виктор нашел на месте халата франтовской сюртук, привезенный уже из города. Преобразившись, таким образом, в гражданина и закрутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой дымился уже самовар, как жертвенник.

— Поздняя птичка, поздняя птичка! — сказал Саарвайерзен, протягивая к нему руку. — Долгий сон, два аршина с четвертью!

Но когда Жанин, подняв на него свои голубые глаза, произнесла свой: «Bonjour, M. Victor»<sup>2</sup>, — голос у него замер вместе с дыханием и лицо загорелось как утреннее небо: так прелестна, так очаровательна показалась ему голландочка. Волосы трубами распадались по статным плечам ее из-под легкого кружевного чепца, жи-

<sup>1</sup> Как это происходит, спрашиваю я тебя, что во сне души путешествуют по воздуху и посещают одна другую, в то время как тела их находятся бог знает где? *Томас Мур (англ.)*.

<sup>2</sup> Здравствуйте, г. Виктор (*фр.*).

вописно сдернутого лентою. Вдохновенный фламандскою поэзией, я бы сказал, что румянец на щечках ее подоился розам, плавающим на молоке. В ямочках, напечатленных улыбкою, таились микроскопического роста амур; два полушара, будто негодую друг на друга, пробивались сквозь ревящую ткань утреннего платья, и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять себя, и, наконец, две ножки, обутые в зеленые атласные башмачки, ножки, кои обращали в клевету укор путешественников, будто в Голландии нет стройных следков,— ножки, которые сам причудливый Пушкин мог бы поместить вместо эпиграфа какой-нибудь поэмы,— одним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олицетворяла для него Гебею, разливающую нектар небожителям, который потягивали они, конечно, не от жажды, но от скуки, и он признавался мне, что никак не рассердился бы на случай, если бы с этой полубогиней повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпийского двора, за которое она отставлена была без мундира и удалена от пресветлых очей тучегонителя Зевса.

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не ищем связей, но жаждем любви и, послушные внушениям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераздельной взаимности. Впоследствии испытанные и, может быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за умом, нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш притуплен; ему нужна острота для возбуждения, и, сидя подле прелестной скромницы, только из учтивости поглощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном: то ли дело дама! Для нее не нужно переводчика, чтобы понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки умеют только прелестно краснеть, притом же они так пахнут бутербродом (toasts)!

Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой премудрости и, полюбя душой, искал только души, которая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы любить, а не умничать. Сердце его полетело навстречу девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила куклы и еще не привыкла к автоматам — одноземцам своим. Семнадцать лет — роковое время даже по Брюсову календарю, а Брюсов календарь, как вам известно,

безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды на сердечном горизонте милой голландочки грозило каким-то чудным сочетанием планет.

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, помощь, им оказанная, и опасность, висящая над его головою,— все это вместе заронило в грудь Жанни такие искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы сердце в воде, не только во фламандском тумане. Как ни малоопытен был новичок наш, однако ж заметил, что если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере салютовали равным числом вздохов — вещь, равно лестная его самолюбию, как и радостная для его склонности. В короткое время их знакомства они уже бегло изъяснялись пламенным наречием взоров и в один час говорили друг другу столько новостей посредством этого телеграфа, что сердцу было на целую неделю работы пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что в наш изобретательный век не приспособят этого наглядного, или, лучше сказать, ненаглядного, средства ко взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик, с помощью пары женских глазок, в несколько заседаний станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Мирандола, который на двенадцатом году выдерживал ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых языках.

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием своей Жанни, молодой моряк очень рассеянно отвечал на вопросы и шутки хозяина; но, к счастью, тот, прихлебывая звездистое кофе, дымя трубкою и пробегая листок купеческой газеты, мало обращал внимания на все, что не носило на себе вида нумерации.

Скрипнувшая дверь заставила, однако ж, всех обратить на нее взоры; входящий в комнату был человек высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых в обширные башмаки. Лицо его походило на солнечные часы,— так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, как будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы повидаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, но, правду сказать, оставался при одном желании. Очень значительно покрывая, стал он раскланиваться, и при

каждом сгибе осанистая коса его перекатывалась со стороны на сторону: казалось, хребет его и его коса (то есть хвостик, прицепленный разумнейшим из существ к своему затылку) были рождены друг для друга; невозможно было представить себе эту спину без косы или эту косу без такой спинки. Чудак этот был бухгалтер Саарвайерзена — занятие, которое можно было угадать по исполинской книге, которую тащил он под рукою; на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными буквами: «Groos Buch»<sup>1</sup>.

— Добро пожаловать! — вскричал хозяин, завидя его. — Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, Гензиус!

Гензиус, который был, так сказать, двуногою табакеркою хозяина, скрипнул систематически крышкою и с почтением поднес табак Саарвайерзену.

— Ну, что новенького в городе? — спросил тот, понюхивая.

Рот Гензиуса растворился, как шлюз.

— Ничего, — отвечал он.

— Что говорят оранжисты, что делают наполеоновцы?

— То же, что и прежде, — возразил преважно бухгалтер.

— Ну, брат Гензиус, из тебя и пробочником не вытянешь весточки; будь я король, я бы как раз произвел тебя в тайные советники. Расписался ли по крайней мере ван Заатен в получении последней отправки сукон?

Этот вопрос навел Гензиуса на родную колею; он с торжествующим видом раскрыл книгу и указал на страницу, унизанную нулями, как бурмицкими зернами. Лицо хозяина просияло.

— Чудная сделка, славный барыш, — ворчал он про себя. — Право, завод мой не воздушные вавилонские сады и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну, господа, теперь можно и отправляться in Goodens паатеп (во имя божие).

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, запряженная четверкою огромных фризских коней, потрясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатались в ней к столице фабриканта. Хозяин с дочерью поместился в задней половине, Гензиус и Виктор — в перед-

---

<sup>1</sup> «Главная книга» (голл.).

ней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против милой голландочки, что, сколь ни новы были для него окружающие предметы, сколь ни любопытно путешествие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. Многие с нетерпением скачут по дороге, не наслаждаясь удовольствием ехать от излишнего желания доехать; напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним путешествием; он желал бы сделать из него вечное движение; весь мир его качался тогда на одних с ним рессорах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче и ухабистей,— и знаете ли, для чего? Чтобы колено его могло коснуться колена красавицы — опыт, который ему удался только однажды, и оставил сладостное ощущение навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени электричества доступно колено хорошенькой женщины? Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, как от прикосновения к электрической рыбке, а что всего замечательнее, удар этот произошел, несмотря на то, что ни в одном из них не было отрицательного электричества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физиологов.

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, пуста или населена была дорога, живописию или однообразно местоположение, по горам или по болотам ехал, о том, что встретил он достойного внимания и недостойного памяти, ни очень любопытных рассуждений о характере народа, основанных на фигуре кровель, на счетах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, никогда не бывалых, ни историй, никогда не случившихся,— одним словом, ничего, составляющего основу романических путешествий. Но зато он очень хорошо познакомился со всеми прихотями Жанни и мог описать вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее лице.

Между тем плавно зыблущаяся карета быстро неслась далее, приближалась и приблизилась к мете. Виктор был в каком-то забытьи; он не замечал не только ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке плотин, не только серебряной табакерки Гензиуса, которую тот подносил, потчужа гостя, к самому носу, но даже времени и пространства. Такие часы сладостны и невозвратны; многими крестами означены они в истории

нашего сердца, и увы! — крестами надгробными; они драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных для света и, может быть, славных или выгодных для самих себя, но пустынных для души, с которой обрывают они радости зимнею своею рукою.

Приехали... Дверцы распахнулись... Виктор очнулся наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка отвечала на его приветствие, когда серебристый голос произнес: «Вот ваша темница, Виктор!» — то он готов был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто раз прелестнее всех мавританских замков в Альгамбре, — верьте после этого описаниям любовников!

Попросту сказать, дом этот, построенный на обширной площади, весьма походил на карточный. Он сложен был из нештукатуренных, но гладких кирпичей, и высокая кровля его убрана в узор муравленою черепицею. Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю длину дома, и висячий балкон служил оному навесом. Окна нижнего жилья были до самого пола; в середине над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые, словно аргусовыми очами, глядели на два крыла строения, в которых помещены были службы и фабрика. Двор, несмотря на осеннее время, был чист как стекло; стены, вымытые мылом и вытертые щетками, лоснились; окна сверкали ясными стеклами, рамы и двери — лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден во всем.

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, голландской барыни в полном смысле слова. Вообразите себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о светлой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vrouw) Саарвайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки брабантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы видели в Эрмитаже куклу хозяйки Петра Первого, вы видели мать Жанни. Впрочем, никто в свете не мог быть добрее и ласковее ее.

— Волей и неволей потащили молодца осматривать комнаты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как журналисты читателей при академической выставке;

каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слушал, крепя сердце.

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточными тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась более чудесностью и богатством, нежели вкусом и красотою. Огромные японские вазы из синего с золотом фарфора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них красовались бархатные и парчовые цветы, разливая земное благоухание. Дело затейливых одноземцев Конфуция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо качали головками на закраинах каминов, и только одни картины Теньера, ван дер Неера, ван Остада, Рембрандта, Вувермана и других известных живописцев фламандской школы заслуживали внимание.

— Каков этот Ван-Дик, дружище, — аа? — сказал хозяин. — Закладую его против мускатного ореха, если в самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет нашего героя Витта? От него поневоле сторониться, чтоб не задеть за нос, — так он выходит из рам. Вот вид морского сражения, за которое расстреляли англичане своего адмирала Бинга для ободрения прочих; настоящее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо тает, дым разлетается, — чудо, а не картина! Этот кальян выменял, или, правду сказать, выманил, я у английского путешественника, — он принадлежал шах-Аббасу. Эти часы, в виде петуха, достал я прямо из Кантона. Они подарены императором Юнтчаном Мудрым мандарину, которому он очень милостиво отрубил голову за возмущение, поднятое иезуитами... Это кинжал Типпо-Саиба, эта вилка от того самого ножа, которым убит Генрих IV, это... — Но, милостивые государи, у меня нет прекрасной дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, слушать все описания игрушек, и редкостей, и сосудов, орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, и вновь: почему иначе, а не так, как у прочих.

Через всedневную, потом праздничную спальни добрались наконец до торжественной, и она, как десерт, заключила пластический обзор. Госпожа Саарвайерзен с гордым видом показывала чужеземцу вышитые ею ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кровати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позднейшему потомству. Десять уступов подушек мал мала меньше восходили к бессмертию двумя пирамидами, и

красный атлас проглядывал на них сквозь батистовые наволочки, словно заря. Кружевной полог спускался к ним навстречу, подобный туману, и стеганное хитрыми узорами голубое покрывало вздымалось морем. Смертный, который бы дерзнул лечь на это божественное ложе, конечно бы, утонул в жарких волнах гагачьего пуха, и потому оно от незапамятных времен назначалось только покоить взоры.

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвайерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и усталости и, весело кончив вечер, заснул, весьма доволен собою и судьбою.

#### ГЛАВА IV

Довольно я скитался в этом мире  
Вдали моих отечественных звезд;  
Я видел Рим — величия погост,  
Британию в морской ее порфире,  
Венецию, но Поцелуев мост —  
Милее мне, чем Ponte de Sospiri <sup>1</sup>.

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей флаамгауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их досугов, колокол неизменно звал к столу и к отдыху, даже к самому удовольствию. Хозяин почти беспрестанно был занят надзором за фабрикой или расчетами по выделке и торговле. Хозяйка же, хотя бы по своему состоянию, могла избавить себя от хлопот за мелочными потребностями домоводства, но домоводство была единственная страсть, коей была она доступна.

Мужчина — создан для внешности, для кочевья, женщина — творение домоседное; она призвана природой для украшения внутренней жизни, очаг — ее солнце. Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожи Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружилась около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как философ-путешественник, возметающий стопами властительный прах Рима и внимающий голосу гробов, вещаниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслушивалась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, но склеенной посуды, на которой видны были печати всех периодов просвещения. Там чайник без носу, там безу-

<sup>1</sup> Известный в Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дожа с темницами. (Примеч. автора.)

хая чашка напоминали ей урок Экклезиаста о суете мира, там несколько поколений разнообразных рюмок живописали в лицах историю Нидерландов. Как романтик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, шум водопада, рев моря,—она пристально внимала ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варенья и печенья открывались пред ней в тишине и уединении. Наконец, не так старательно слагает начальник какого-нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, не так лепит дипломат из форменных фраз ноту в надежде быть кавалером посольства, не так рачительно выкрадывает модный стихотворец эпитеты в нелепое стихотворение, которое назовет он поэмою, как внимательно готовила она вафли, и, правду сказать, изо всех упомянутых дел едва ли ее было не самое трудное и, без сомнения, гораздо полезнейшее для человечества. Что касается до изобретательности, она не уступала никакому Перкинсу, Дженкинсу и Допкинсу. Ее маринованные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль в окружности; да, кроме того, она выдумала особый род яблочного пирожного, неизвестного дотоле в поваренных летописях, и назначала передать этот важный секрет своей дочери в день замужества, в приданое.

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть времени в созерцании горшков, бисквитных щипцов, раков, роз и бабочек, напечатанных на формах для студней, когда отец ее являлся только домой, подобно карпам в пруде Марли,—по звону колокольчика, молодые люди были вместе, неразлучно. То Виктор, сидя подле пяльцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, то Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей что-нибудь в альбом. В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкою драмы, он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она слушала с большим вниманием, даже порой вскрикивала: «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» — «А почему же нет?..» — возражал рассказчик, уставя на нее свои выразительные очи. Жанни обыкновенно со вздохом опускала тогда свон и принималась за работу... Я, право, не знаю, о чем она тогда мечтала.

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, оживленный желанием нравиться, становился еще лю-

безнее; шутки его могли бы заставить самого кота смеяться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью Жанни. Воспитанная с младенчества во французском пансионе, она приобрела все милые качества французок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже блистала полной красотой молодости, сохранив всю прелесть младенчества. Виктор после шумной веселости впадал нередко в глубокую задумчивость и грусть, может быть сладчайшую самой радости, необходимую для сердца, чтобы вкусить минувшее блаженство и отдохнуть для будущего; но Жанни была игрива неизменно, чувство любви было еще для нее забавою, а не наслаждением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его угрюмость была новым поводом к шуткам. Она, как муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скрывалась неуловима. Так прошла целая неделя ненастного времени.

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила ему посмотреть сад, устроенный в настоящем голландском вкусе: дорожки, отбитые по тесьме, лужайки, усыпанные разноцветным, блестящим песком в виде звезд, кругов, многоугольников, точь-в-точь блюдо винегрета, горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы можете подумать, будто здесь природа сделана столяром. Мраморные герои, полубогини и полные боги — произведения фламандского резца, несмотря на тучность свою, сбились, кажется, отдернуть казачка, и лев с важностью стоял над водоемом, ожидая воды, которая лишь капала с морды его, как будто он получил насморк. Нигде и ничего не было видно естественного: там возвышались жестяные цветы на решетке, ограждающей лабиринт величиною в две сажени, там сгибался мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы, там сидели деревянные китайцы под зонтиками, скрываясь от летнего солнца в октябре, там охотник с невероятным терпением метил в утку, которая двадцать лет не слетала с озера... Увидя на башенке оранжереи неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своей путеводительницы:

— Не фарфоровый ли он?

Жанни засмеялась:

— Мы не язычники, господин Виктор, — возразила она, — и хотя у нас, как у египтян, эта птица в боль-

шом уважении, но мы еще не воздвигаем ей храмов, ни идолов.

— Жаль, очень жаль; ваш Гензиус, кажется, рожден быть великим жрецом этого долгоногого домашнего божества.

— А как нравится вам сад наш, господин критик?

— Чрезвычайно любопытен; это палата редкостей; жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске зелени и цветов.

— В этом вы можете утешиться; невелика жатва осени после ножиц нашего садовника, и сад этот имеет неоцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их царство, где цветут они, как ваши северные красавицы, в теплицах.

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка, сквозь которую вошли они, занята была птичником: за светлую бронзовую сеткою порхало множество мелких заморских птичек; иные клевали зерна, рассыпанные по полу, другие увивались около гнездышек. Любимые канарейки Жанни слетелись к ней, едва она простерла руку, сидели на плече, ели сахар из уст ее. Виктор любовался этой картиной.

— Это очень мило, — сказал он, — но я во всем вижу, что вы любите своих гостей превращать в пленников.

— Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: выпустить этих бедняжек на волю, в нашем климате, значит погубить их безвременно.

— О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, что не только мирных канареек, но и смелого сокола заставите забыть свободу.

— Сокол, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, слава богу, не мода носить дамам на руке этих хищных птиц, как видно на старинных картинках; я бы страшилась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих!

— И страшились бы напрасно, Жанни: ручной сокол преучтивая птица; он бы доволен был конфетами и ласками вашими.

— Чтобы взвиться под облака и улететь?

— О нет! чтобы сидеть под кровлей вашей смиреннее голубка!

— Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уверите меня, что у сокола и когти для красы; но оставим летучее племя для этих растущих мотыльков, которые

к красоте воздушных детей весны присовокупляют благоухание и постоянство. Это любимое общество батюшки.

— Цветоводство — приятное занятие для преклонного возраста, как воспоминание прежних радостей, и полезный урок нам.

— О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы страстно, если б они не были так изменчивы и кратковременны. Надобно иметь или тысячу сердец, или одно очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и утешаться вновь и вновь.

— Цветы счастливее нас, Жанни: мы изменяемся и вянем, подобно им, но они не страдают, подобно нам!

— Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не завижду цветам. Вы, конечно, знаток в ботанике, Виктор?

— Только любитель, Жанни, только любитель; я не отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию только по гербовнику. Ваши термины: *bulbata*, *barbata*, *angustifolia*, *grandiflora*<sup>1</sup> — для меня арабская грамота.

— И вы, в святилище цветов, в доме известного цветослова, не краснея, хвалитесь этим?

— По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, но не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат даже, как растет трава, что не ошибусь в выборе прелестнейшей.

— Это не очень мудрое предпочтение, господин мудрец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уважение батюшки, надо поучиться толковать с ним о листьях, и лепестках, и венчиках, и пестиках всех редких цветов без лицепрятия.

— Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно не только прилепиться к цветку, подобно пчеле, но прирасти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня в рыцари теплицы. От кого лучше, как не от самой Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о цветах, а может быть, и свои чувства цветами! Не начать ли с сегодня благоуханных уроков, Жанни?

— Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, например, называется малайская астра.

— То есть звезда, — тихо повторил Виктор, загляды-

---

<sup>1</sup> Луковичные, усовидные, узолистные, крупноцветные (лат.).

вая в очн своей учительнице,— я знаю две звезды, которых краше не найти в целом небосклоне; к ним и по ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана.

— Ах, оставьте, пожалуйста, в покое ваш океан и удостоьте сойти с неба...

— Ничего нет легче этого, Жанни, когда небо удостоивает сходнть на землю.

— Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэзию! Вот родня вашей любимицы — *rose musquée*<sup>1</sup>; вот махровая роза; вот туб-роза.

— Прелестные цветки! Им недостает только шипов, чтобы поспорить с настоящей розой.

— В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, Виктор... Вот китайский огонь.

— Который имеет зажигающее свойство только в ваших руках,— не правда ли?

— Вот мандрагора, про которую индийцы рассказывают, будто она кричит, когда ее срывают со стебля.

— И, верно, кричит: «не тронь меня»?

— Я не решалась никогда оскорблять ее чувствительности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все племена маков; из них свит венец Морфея, и льется опиум в испарениях!

— Не страшусь нисколько их усыпительного влияния, находясь так близко к противоядию. Я говорю по опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше: «доброй ночи, Виктор» вместо доброй ночи дает мне злую бессонницу.

— Бедненький Виктор! Теперь я знаю, отчего он бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На гарлемском жонкиле, на капском ранункуле, на писаном тюльпане? И то нет! Ваша рассеяinnostь прилипчива, господин ученик; но вот кактус, который цветет однажды в год, и то ночью. Надобно несколько зорь сряду стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пышный белый цвет его с оранжевыми окrainами; и вообразите, только два часа красуется он и потом опадает мгновенно.

— Хоть два часа, но он цветет, он манит взоры, он радует сердце прекрасных. Я бы готов был годами жизни купить подобное счастье!

---

<sup>1</sup> Мускусная роза (фр.).

Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолвно смотрела на Виктора.

— Как здесь жарко! — сказал она, отбрасывая от лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за дверную ручку. — Повторим первый урок и посмотрим, что заслужит ученик мой: место ли в углу или позволение бегать по двору? Например, скажите мне имя этого цветка? — примолвила она, сорвав тюб-розу.

— Не знаю, — отвечал Виктор не сводя очей с очей Жанни.

— Но что ж вы знаете, боже мой?! — вскричала она.

— Любить, любить пламенно, — возразил с жаром Виктор, схватив нежную ручку ее.

— А что значит любить? — спросила она с простосердечием.

А что значит любить? — повторяю сам я, обращаясь к читателям... И вопрос этот, право, не так глуп, как он кажется сначала. Я много читал в книгах, еще больше слышал мнений людских об этом предмете, и ни одного согласного. Один говорит, что любить — значит, желать, другой, что любить — отказываться от природы; тот уверяет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для богачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, назвав любовь стремлением к возрождению посредством красоты, но это определение страсти — не описание ее действий, не характеристика ее феноменов; и что вы ни говорите, а, кажется, я останусь при своем вопросе.

Не двнитесь же, милостивые государи, что этот простой вопрос ужасно смутил неопытного любовника; он вовсе не был приготовлен разменивать свои чувства на мысли и мысли на выражения. Нить его идей прервалась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; он произнес несколько неясных звуков, потупил очи на цветок, который Жанни держала еще в руке, и, желая найти точку опоры, сказал:

— Это колокольчик?

Должно полагать, у него крепко звенело в ушах, когда он назвал тюб-розу колокольчиком.

Жанни не могла удержаться от смеха.

— Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик, — в вашей памяти, как в снегу, не расти цветам.

— Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, прекрасная Жанни! Менее ль предестна райская птичка

оттого, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовонна роза, если назовут ее другим именем?

— По крайней мере не менее забавно. Заметьте, Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не распускаются так широко; пестики их гораздо ниже и пушистее; притом образование самого цветка...

Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой лежал он.

Виктор, изволите видеть, был немножко близорук. Между тем длинные локоны ее касались лицу ученика, а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбудитель электричества. Оттого прекрасному полу так нравятся гусарские усики, от того же самого и Виктор почувствовал на сердце прикосновение к своему челу кудрей красавицы... Невольно он поднял очи: перед ним дышали внешнею свежестью румяные щеки и благоухающие губки распускались как заря. Это было выше сил его. Он прильнул своими устами к устам искусительным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе!

Видали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясаясь дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушеваясь, сливаются воедино и крупной слезой ниспадают, сверкая. Так точно слились устами наши любовники, забывая весь мир в упоенье восторга. Поцелуй — сладостное чувство, милостивые государи! Новейшие физиологи недаром назвали его шестым чувством, изящнейшим, нежели все прочие, и природа не без цели одарила одного человека таким нежным орудием оного — устами с чрезвычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный поцелуй, но что может сравниться с первым, девственным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, даже самое обладание — все, все, что люди привыкли называть счастьем, и если вы испытали все это, сознайтесь, что оно не в состоянии дать вам радости, чистейшей сих невозвратимых мгновений.

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сердитым видом вырвалась из его объятий.

— Я никогда не ожидала от вас этого, господин Виктор, — произнесла она голосом обиженной гордости и, как серна, прыгнула за дверь теплицы.

Изумленный любовник остался на месте с распро-

стертыми руками... Если б граната лопнула в его кармане, он бы менее был испуган, чем такую неожиданною строгостью.

## ГЛАВА V

Les femmes ont l'humeur légère,  
La nôtre doit s'y conformer;  
Si c'est un bonheur de leur plaire,  
C'est un malheur de les aimer.

*Parny*<sup>1</sup>

Виктор протирал глаза, не веря сам себе. «За что ей рассердиться? — думал он. — Кажется, она была неравнодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень понятно отвечала на пылкие взгляды. Конечно, поцелуй был неожиданный, но не похищенный силою, и, сколько могу припомнить, ее губки не убегали от моих. Теперь или ранее обманулся я?»

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев своей любезной, Виктор как подсудимый явился в столовую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взоры Жанни: она, как ртуть, убегала от встречи. Злая девушка с гордой холодностью и с видом обиженного достоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный бемольным тоном обращал к ней вопрос, то односложные *да* или *нет*, словно иголки, входили ему в сердце.

В первый раз заметил он, что Гензиус несносен со своими расспросами: как ведется в России грассбух? разделяют или соединяют в одну тетрадь *credet* и *debet*?<sup>2</sup> венецианскую или амстердамскую методу предпочитают для счетов и красными ли цифрами вписывают транспорт? — у человека, который не знал иного транспорта, кроме срывающего четыре куша с банкмета. Заметил, что шутки хозяина длиннее двух аршин с четвертью и что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, существующей между предохранением, охранением и сохранением пикулей, об упадке просвещения, что ясно доказывается введением сапогов вместо башмаков с тон-

---

<sup>1</sup> Женщины легкомысленны, и мы должны им в том потакать; если нравиться им — счастье, то любить их — несчастье. *Парни* (фр.).

<sup>2</sup> Кредит и дебет (лат.).

кими подошвами, и, наконец, о размножении моли, верного предвестника близкого преставления света.

Между тем Жанни оставалась неизменно равнодушной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким упорством, он наконец убежал в свою комнату, с твердым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к ужину.

— Это ни на что не похоже,— говорил он сам с собою, отмеривая саженные шаги по паркету,— так молодда и так упряма! Что я говорю — упряма? Так причудлива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, которые не стали бы оттого короче!

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее ушко; от ушка далее и далее; наконец он сел, как будто желая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами.

— Да, да, это правда — она хороша, слова нет, что хороша,— приговаривал он, будто нехотя,— сложена — чудо! Умна, как день, но зато уж эла, как медяница, как змея с погремушками... Я поздравляю себя, что разлюбил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что ненавижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни,— вы можете пленять теперь на свободе эту двуногую треску — Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за леденцы.

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился в дверях.

— Самовар подан! — возгласил он однозвучно.

Виктор глядел на него, расширив глаза, как будто слуга произнес что-то на санскритском наречии.

— Пожалуйста кушать чаю! — сказал вестник.

— Кушать чаю? — повторил Виктор умильным голосом. — Сейчас иду, друг мой! Иду, но для того, чтобы показать спесивице, что значит оскорбленная любовь! — присовокупил он, оправдываясь перед собою.

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, вместо того чтоб сесть по-прежнему подле Жанни, рассыпаясь жемчугом в иносказательных приветствиях, подсел к старику, хозяину, и пустился шутить с ним наперегонки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, показывала зубки, когда он выказывал остроумие или рассказывал что-нибудь смешное, теперь не удостоивала его шуток даже улыбкою, заводила незначащий разговор с матерью и, будто назло ему, все делала наоборот.

Обыкновенно, в первой степени любовного масонства, ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все прихоти, все причуды милой особы и таким нежным вниманием, такими маленькими услугами пробивать тропинку до ее сердца. Подобный размен предупредительности уже существовал между нашими любовниками, и они оба могли перечесать по пальцам, что каждый из них любит или не любит особенно; ни одна безделица, которую только глаз любви может заметить, только сердце любви оценить, не предлагалась без взаимной придачи улыбки или слова. Напротив, теперь Жанни будто вовсе забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее, не дослушав его речей, Жанни обращалась к другим, с пустыми вопросами. Виктор выходил из себя, стараясь казаться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, но чудовищем, самым милым в свете; он готов был тогда разбраниваться с нею навек и расцеловать в пух. Беда, когда западет в ретивое страсть, которой мы не в силах ни бежать, ни победить!

Я, право, не знаю, что важнее для любовников: первая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, когда они приходят вдруг, подобно радуге в бурном дожде.

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою гордость униженной перед невниманьем.

— О женщины, женщины! — восклицал он. — Существо бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодарное!

Он не первый и не последний вымещал на целой половине рода человеческого досаду на одну девушку. В любовных и в политических упреках обе стороны бывают обыкновенно чрезвычайно справедливы: старое и новое, небывалое и бывшее — все смешано вместе, все обрывается на голову обвиняемого; каждый умильный взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то есть в обвинение за неблагодарность.

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он решился писать к *жестокой*.

Начинать переписку побранкой — довольно щекотливая вещь; она казалась, однако ж, самую естественною и всего более справедливою для неопытного моряка.

Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал листы за листами, то находя выражения свои чересчур жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и отворял окно, будто наживая прилива красноречия от полнолуния, или с жадностью затягивался трубкою, высасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные нелепости текли струей на бумагу и, подобно ракете, рассыпались звездами слов. Чего там не было! И обольстительные упреки, и нежные угрозы, и клятвы, и обеты — словом, все выходки сердечного безумия, все грезы любовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это было вкратце,— и на третьем листе он дописывал начало, как вдруг ему показалось, будто буквы растут, растут перед пером его, что они, свившись хвостами и усами, начинают извиваться и прыгать, как змеи. Изумленный таким явлением, Виктор снял со свечи, протер отяжелевшие глаза,— не тут-то было! Дети азбуки не унимались: строчки бегали вкось и вдоль и словно дрались между собою, запятые и многоточия (вещь необходимая в любовном письме, как дробь в охотничьем заряде) летели со стороны на сторону, целые фразы кружились, смешивались, перескакивали бог весть куда, до того, что у Виктора зарябило в глазах. Неодолимый зевон, как очарованием, разверз его челюсти, и голова тихо, тихо скатилась на неоконченное письмо.

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, который, украв у соседа петуха, набрел, пробираясь через кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того света, покинув могилы, чтоб погреть свои кости на месяце, играли, перекидывая своими головами как мячом; гробовые одежды лежали рассеяны. Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давнул несчастного вестника зари, что он закричал кукареку благим матом. Смутились пляски покойников; каждый, надевая голову, какую послал ему случай, и одежду, какая попала под руку, швырком и кувырком кидался в могилу. Наутро любопытные нашли весь гробовой мир вверх дном: известный красавец лежал с беззубою головой старухи, у старика профессора философии накинута была набекрень детская головка, отставной солдат с деревянною ногою лежал в душегрейке, а кирасирские ботфорты красовались на маленькой ножке танцовщицы.

Проснувшись на заре, точно в таком же беспорядке нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он его сверху вниз и снизу вверх, добиваясь толку; напрасно искал он, что ему хотелось вчера выразить,— это было настоящее вавилонское смешение языков.

— Или я сегодня умнее вчерашнего,— сказал он наконец, раздирая в куски послание,— или вчера был так мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала обо мне Жанни, если бы я грянул в нее такую нескладницу?

Совершив *autodafé*<sup>1</sup> над лоскутками, Виктор вышел в сад подышать свежим воздухом и собраться с мыслями на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные деревья осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали как ослиные уши, и даже аист на башенке оранжереи — все напоминало картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у дверей теплицы; сердце вечно влечет нас туда, где вкусило оно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах.

— Там никого нет? — спросил Виктор, желая сказать что-нибудь голландцу.

— О нееп, туп *heer*<sup>2</sup>, — отвечал тот, подвигая на сторону колпак свой, — как никого нет? Там премножество птиц и цветов.

— Утиная шутливость, друг мой! — возразил Виктор захлопнув за собой двери.

— *Soo, soo!*<sup>3</sup> — произнес голландец, пыхнув очень значительно дымом и качая головою; дальнейших объяснений думы его надобно было бы ожидать, как поздней капусты. Он удалился, улыбаясь лукаво.

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие, — по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии

---

<sup>1</sup> Сожжение (фр.):

<sup>2</sup> О нет, сударь (голл.).

<sup>3</sup> Так, так! (голл.)

философия по убеждению. Каким благородным доверием, какую чистою добротою бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в миллом цветке, в тихом кустарнике — родного; мы считаем людей и верим себя самих лучшими, и точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постояннее. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и, как победителя, возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет сердцем биению жизни во всем творении, гармонии блага — во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и народов. Только это двоякое созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, сливающиеся в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тюб-роз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью, — чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поцелуем, и громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою очередь, заглушен был звуком поцелуев Викторовых, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

— Полно, полноте, Виктор! — кричала красавица, заставляя уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний. — Я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

— Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

— Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать — счетом; а кто бы успел считать их? — возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румянцем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так простосердечно игрива, — Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвинил руку около стройного ее стана и неприметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убежала от милых уст, уста ее преследующих, так, что Виктор срывал поцелуй, как розы за розою.

— Мы перечтем снова, — произнес он, и между всяким словом было *тире* из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь нероглифом.

В проверку счета вкрадывались ошибки, и проверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили *ты* друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово.

— Я хотела помучить тебя, Виктор, — говорила Жанни, расправляя розовыми перстками волосы на голове его, — но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою, — примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливица, — и наконец не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор!

— За что я обожаю тебя, коварная девушка!

— Не сердись вперед, Виктор, — ты так страшен в гнев; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

— Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия, — по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

— О нет, друг мой, — отвечала она простодушно, — я уже привыкла быть равнодушною, я люблю впервые.

— И впоследствии, Жанни?

— Однажды и навсегда, Виктор!

— Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что

значит любить. И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животно-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платонической методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне; что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою, каплей по капле вкусить свое блаженство.

## ГЛАВА VI

«Я, Душенька, люблю Амура!»  
Потом заплакала как дура;  
Потом, не говоря двух слов,  
Заплакал с нею рыболов,  
И с ним взрыдала вся натура.

*Богданович*

Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранжевую, да и прелестная голландочка не опаздывала приходить туда кормить своих канареек, лелеять свои цветы заморские. Само собой разумеется, что не забывала и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому племени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с природы, а от флегмы садовника можно было услышать только соо, соо, сопровождаемые весьма значительными и вовсе непонятными пухами табачного дыма. Полагать должно, они не скучали, и хотя словарь счастливых очень ограничен,—но они не могли наговориться об одном и том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить ко вчерашнему.

Живучи в таком элизуме, наш лейтенант вовсе позабыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь ни горячий патриот был он, но редко вспадала ему на ум горькая мысль, что французы идут в сердце отечества. «Нет, Русь не падет! — восклицал он, пылая. — Наполеон поскользнется в крови нашей!» — и успокаивался, и утешал себя верою, что все это скоро кончится, и оправдывал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь обезмол-

вила, наконец, все прочие чувства; завтра для него не существовало; он сам не жил в самом себе,— он будто променялся душою с милою.

Однако ж этот промен был невыгоден для Жанни, и она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и ею. Домашний порядок, доселе верный как часы, совсем потерял черед под ее надзором. Однажды в пальцах вместо какого-то узора она вышла целую строчку литер W по зубчикам косынки. В расходной тетради, вместо итога, явилась чья-то мужская голова — Юлия Цезаря, по ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хотелось танцевать, в часы уроков на арфе — молиться. То забывала она ключи в ящике, то вместо сладкого миинда-лю насыпала для пирожного горького, то оставляла стул посреди комнаты — вещь, которая для матери ее была страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда она налила ему кофе без сахара и в задумчивости сорвала какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось смертным грехом в доме его.

— Два аршина с четвертью! — вскричал он, отворив большие глаза.— Это что-нибудь да значит!

Между тем, однако ж, как Амур готовил суматоху в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его стрелы.

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, притаясь, не думал напоминать об отправлении; а старик, чрезвычайно довольный его обществом, казалось, совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая хозяйка привыкла к нему, по собственному ее признанию, будто к старому ореховому комоду, который отдан был за нею в приданое. Притом, поздняя осень делала затруднительным, если не вовсе невозможным, плавание по бурному побережью Зюйдерзее, а дурная погода избавляла от гостей, которые бы могли подозревать или угадать что-нибудь в странствующем приказчике, на которого, правду сказать, он несколько не походил с головы до ног и с речей до поступков. Словом, все обнадживало нашего моряка, что он долго просидит на мели, а там, а там... доживем — увидим, случится — так подумаем! И между тем часы летели, и сердце отживало годы счастья.

Утром первого ноября, светел как майский мотылек, порхнул Виктор в теплицу и нашел там Жанни в горьких

слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и отзывом на них были только новые слезы, новые στε-  
нания.

— Минули мои радости,— наконец произнесла она,— Виктор меня покидает!

— Какие черные мысли, милая Жанни,— скорее замерзнет пламень, чем я изменю тебе!

— Ах! зачем ты не изменишь мне? Тогда, по крайней мере, я бы в гневе и в презрении нашла отраду разлуке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невинного!

— Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, еще все может перемениться к лучшему!

— Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, когда все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я полюбила тебя, Виктор!..

— Я не понимаю тебя, милая!

— Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял никогда вести разлуки, если б это могло удержать тебя со мною.

— Возможно ли: мне готовят отправление?

— Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя на эскадру; завтра ночью ты отправляешься!

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею любезною; наконец вспомнил, что он, как мужчина, должен утешать ее; но Жанни, которую горесть сделала причудливою, с сердцем отвергла его изношенное красноречие.

— Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе ладья показалась бы мне люлькою, но, воображая тебя на ней одного, я всякий час буду страшиться потопления... И потом, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забудешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть, станешь смеяться над простотою Жанни, когда Жанни будет плакать, горько плакать!..

Рыдания прервали слова ее.

Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары две заветных слезинок, однако ж, лаская и уговаривая, уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить Жанни.

— Я откроюсь твоему родителю,— говорил он,— и буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа и по-

том невозможности возвратиться к тебе: война ведь не вечна, как любовь наша. Притом еще два дня могут принести много перемен!..— Жанни поглядела исподлобья, как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; наконец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч солнца сквозь вешний дождь: юность так охотно вернется надежде и сама спешит навстречу обмана.

Уже все собрались к обеду.

Хозяин, заложив руки в карманы, преважно рассказывал Виктору о новом изобретении цилиндрических ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на картину, изображающую столовые припасы, наигрывал носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лейтенанта, и уже хозяйка вошла в комнату с рдеющими от огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскричал:

— Так и есть, вот болтун Монтань к нам тащится.

— Капитан Монтань! — вскричала испуганным голосом хозяйка.

— Это настоящее божеское посещение, — сказал Саарвайерзен.

— Разоренье, да и только, — сказала госпожа Саарвайерзен.

— Он для меня несноснее барабана, — сказал первый.

— Он для меня страшнее моли, — сказала вторая.

— Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки с лимонных деревьев для настойки, — сказал хозяин.

— Передвигает с места всех мандаринов и перервет мои ковры своими варварскими каблучищами, — сказала хозяйка, бренча, однако, связкою ключей.

Делать было нечего; живучи за городом, теряют право отказывать скучным людям, и несовместно с добротой, не только с учтивостью, отказать приезжему из-за пятнадцати миль. Приятель-неприятель уже всходил на лестницу, и гостеприимное *прошу пожаловать* встретило его у порога, между тем как он напевал еще песню:

Les Francais ont pour la danse  
Un irrésistible attrait;  
Et de tout mettre en cadence  
Ils ont, dit-on, le secret;

Je le crois,  
Quand je vois,  
Ges grands conquérants du monde  
Faire danser à la ronde  
Et les peuples et les rois! <sup>1</sup>

Двери отворились, и капитан *garde-côte*<sup>2</sup> Монтань-Люссак влетел на цыпочках в комнату. Он был человек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти от полу, с кроликовыми глазами, с совиным носом и с настоящею французскою самоуверенностью. На нем был синий мундир с одним эполетом, и он подпирался шпажкой, которая, вместе с тонкими козьими ножками, делала его весьма похожим на треногую астролябию.

— *Ma foi*<sup>3</sup>,— сказал он, раскланиваясь с видом благосклонности,— недаром говорят, что в рай претрудная дорога. Ваш фламгауз, *mon bon monsieur Sarvesan*<sup>4</sup>,— настоящий рай Магометов, потому что одна *mademoiselle*<sup>5</sup> Жанни стоит всех гурий вместе,— и с этим словом он так махнул мокрою шляпою, что брызги полетели кругом.

— Вы так любезны, капитан,— отвечала Жанни с лукавой улыбкой, вытирая платком платье,— что нет средств *сухо* принять ваши приветствия!

— Вы божественно снисходительны, мадемуазель Жанни,— возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не замечая насмешки,— и я принес жертву вашей божественности — премиленький рисунок воротничка,— в нем вы покажетесь, как персик между листьями. А вам, *madame Vigversant*,— сказал он, обращаясь к хозяйке,— выпи-сал я рецепт, как сохранять в розовом варенье природный его цвет.

— Лучше бы научили вы средству сохранять ковры от мокроты,— отвечала она, с ужасом глядя на струю дождя, текущую со шляпы героя.

— Капитан — неизменный угодник дамский,— молвил хозяин, трепля его по плечу,— у него в кармане всегда найдется про них какая-нибудь игрушка и в голове за-пасный комплимент!

<sup>1</sup> Французов непреодолимо тянет к танцам; говорят, они владеют секретом все обращать в такт; я верю этому, когда вижу, как эти великие завоеватели мира заставляют и народы и королей кружиться в хороводе! (фр.)

<sup>2</sup> Береговая стража (фр.).

<sup>3</sup> Честное слово (фр.).

<sup>4</sup> Добрейший господин Сарвезан (фр.).

<sup>5</sup> Мадемуазель (фр.).

— Par la sainte barbe (клянусь пороховою каморою), — возразил капитан, вытягивая свой туго накрахмаленный воротник, — мое сердце готово всегда упасть к ногам прекрасных, а шпага — встретить неприятеля!

— Славно сказано, капитан, — только, видно, у вас сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать его, как червонный туз; ну, а, кстати, о шпаге: много ли ей было работы пронзать и щупать тюки с запретными товарами?

— Я задавлен делами, vrai dieu<sup>1</sup>, задавлен! — отвечал французик, зачесывая на обнаженный лоб скудные волосы. — Ваши соотечественники, вместо благодарности нашему доброму императору за то, что он не столкнул Голландию в море, беспрестанно заводят по всем шинкам заговоры, а забияки русские и англичане того и жди, что нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли тайную высадку, чтобы захватить крепость и порт, — безделица! К счастью, сударь, я своею проницательностью уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были захвачены, — и в чем, как вы думаете? В ромовых бочонках, сударь, в ромовых бочонках!

— Вам должно воздвигнуть статую во весь рост на бочонке вместо подножия, — сказал, улыбаясь, хозяин.

— Этого мало, герр Sans-fer, Sans-ver-Sarrasin, извините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими именами, — вообразите себе, что эти вандалы, англичане, эти враги человечества, то есть французов, собрались нас зажарить заживо, вместе с домами и кораблями, открыли в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб ввести потихоньку зажигательные вещества в курительном табаке, в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, даже в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; все каблуки французских генералов начинены были порохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из нас поодиночке...

— И вы опять открыли их?

— Mais cela va sans dire (это и без слов разумеется), под крыльями французского орла и до тех пор, покуда я охранитель берегов здешних, вы можете спать как за каменную стеною.

— Не угодно ли же генню-хранителю отведать нашего обеда? — сказал хозяин, наскучив его болтаньем,

---

<sup>1</sup> Истинный бог (фр.).

суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи!

Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хозяйке, Виктор — дочери, а сухощавый Гензиус и шаровидный хозяин, как постный сочельник и сытное рождество, замкнули шествие.

Я думаю, известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат любезности с дамами, по крайней мере Монтань-Люссак нисколько не сомневался, что он урожденный остроумец и непобедимый человек в искусстве нравиться. Правда, что переслащенные комплименты его подернулись уже мохом со времен Франциска I, но зато он отпускал их Жанни самым новым, хотя весьма смешным образом. Обо всем другом рубил он сплеча, не краснея, и между тем не забывал ни стакана, ни тарелки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота разрешалась безмерным хвастовством.

— А каких наш маленький капрал? Soit dit sans vous déplaire (не во гнев вам будь сказано), — сказал он, качаясь на стуле. — С каждой почтой присылает он к нам ключи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петербурге, и тамошние дамы заказали тридцать тысяч пар башмаков для встречного бала! Что это за прелестная земля Московия, когда б вы знали! Рай, а не край.

— Вы разве были там? — спросил Виктор.

— Я не был, mais c'est égal:<sup>1</sup> мой брат собирался туда ехать. Представьте себе, что там падает осенью град в гусиное яйцо, из которого пекут превкусные хлебы; соболы водятся там в домах, как у нас мыши, а всего табувнее, что для верховой езды в горах употребляют лошадок, называемых коньяк, которые не больше собаки.

— Я думаю, однако ж, что храбрые ваши одноземцы немного найдут прелести и пожнвы в краю, нарочно опустошенном, — сказал Белозор.

— Bagatelle (сухая безделица), — возразил капитан. — Что значит русские морозники для испытанных гренадеров, которые кушали мороженое, приготовленное на льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо на солнце Египта. Allons chantez-moi ça<sup>2</sup>, я сам стоял на биваках в пирамиде Вестриса.

— Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать, — заметила Жанни.

---

<sup>1</sup> Но это все равно (фр.).

<sup>2</sup> Ну, рассказывайте (фр.).

— Vous y êtes, mademoiselle (вы угадали), но это все равно, дело в том, что Московия не чета Египту; пройти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить песню.

— Трудно только выйти,— сказал с насмешкою Виктор.

— А, а! господин любит пошучивать, но от этого нашим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов.

— Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные фабрики? — спросил лукаво хозяин.

— Покуда нам довольно и голландских,— отвечал капитан.— Нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубы, костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсаживают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих варваров образовать даже климат, и благодаря стараниям Фуше теперь он немного уступает итальянскому. Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При торжественном вступлении его в Москву...

— В Москву?! — вскричал Виктор, едва не вскочив со стула.— Эта шутка переходит уже границы терпения!

— Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин страствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили под землей, если не слышали этой новости; даже в Пекине все немые толкуют об этом!

Надобно сказать, что флот давно не получал известий с театра войны, а ван Саарвайерзен не хотел печалить русского вестью о взятии его отечественной столицы.

— Москва точно взята,— сказал он ему по-немецки,— но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерь себя.

Но эта весть как громом поразила юношу, и наконец худо скрытая досада овладела им.

Болтун продолжал по-прежнему:

— Да, сударь, перед Москвою мы разбили пятисот тысячную армию, которою командовал Суворов или Кантакузен, ou quelque chose comme cela; <sup>1</sup> тут дрались даже старики с бородами по колено, которые служат им вместо лат или наших хвостов на кирасирских касках; картечь или пуля ударит, да и запутается в волосах!.. При этом деле были два полка самоедов на лыжах,— mais on enfila ça comme des grenouilles <sup>2</sup>,— в полдень все были

---

<sup>1</sup> Или что-то вроде этого (фр.).

<sup>2</sup> Но их инаизывают, как лягушек (фр.)

кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя французов от души, на руках внесли победителя в город. По русскому обычаю, герою поднесли в пироге запеченного китенка, по счастью накануне пойманного в Белом море.

— Оно полторы тысячи верст от Москвы,— с презрением сказал Виктор.

— Точно так, точно так и было до Петра Великого; но он, для удобства столицы, велел подвинуть его поближе. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких мало, и если б подольше поцарствовал, то весь бы свет обратил в океан и посадил на корабли. Но я удаляюсь от рассказа. К вечеру дан был бал, на котором музыку составлял звон всех московских колоколов; говорят, что эффект был восхитительный! Для редкости, два эскадрона пленных казаков отличились в народном танце, который у них известен под именем *пляска*. Все лица днем и все улицы ночью были иллюминированы. От избытка приверженности к вожделенным гостям жители зажгли дюжины церквей и несколько кварталов.

— Чтобы все французы погибли там! — вскричал Виктор.

В этот миг слуга принес английские газеты.

— Москва освобождена... Французы бегут! — вскричал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал его Виктору. Весть об изгнании была там напечатана большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обратил благодарные очи к небу, но потом желание укротить хвастуна вырвалось у него насмешками.

— Итак, господин капитан, ваши египетские герои бегут не оглядываясь!

— *Sur ma foi*<sup>1</sup>, — вскричал тот, — это газетный вздор, это зажигательные известия английские; я никогда не видывал, чтобы французы от кого-нибудь бегали...

— Может быть, оттого, что вы бывали тогда *впереди всех*, — сказал Виктор насмешливо.

— Мне кажется, господин рыцарь аршина, вы на мой счет изволите забавляться? *Douze mille bombes!*<sup>2</sup>

— На ваш счет, господин герой таможни? Нимало: я бы ничего не поверил вам в долг:

— Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли вы, что я происхожу по прямой линии от славного Мон-

---

<sup>1</sup> Клянусь (фр.).

<sup>2</sup> Двенадцать тысяч бомб! (фр.).

тания, который так же умел владеть пером, как шпагою?

— В таком случае вы оправдали на себе басню, в которой гора породила мышь!<sup>1</sup>

— Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворянин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стояли острием моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя.

— Дерзкий хвостун! Если б мы были не в доме почтенного человека, вы бы получили должную награду; впрочем, вы можете счесть, что взяли ее.

— Так знайте и вы, что если б не этот стол, я бы произил вас насквозь,— вскричал ретивый француз,— и с этой минуты вы можете считать себя мертвым!

Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. Нахотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на этого шута. Согласие восстановилось за бутылкой шампанского, которую гости распили за здоровье победителей, каждый разумея в тосте, кого ему хотелось.

После кофе капитан с значительным видом приблизился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который собирается говорить поучение, выставил вперед козлиную ножку и умильным голосом попросил хозяина удостоить его минутным, но особенным разговором о важном, очень важном деле. Слыша это, все лишние поспешили удалиться.

## ГЛАВА VII

Утешься! Индия осталась за нами.

*Н. Хмельницкий*

О чем и как шла таинственная беседа Монтаня с хозяином, история умалчивает. Только через полчаса двери кабинета растворились, шумя, и капитан, надувшись как индейский петух, с гневным видом вышел оттуда, крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал его повторениями:

— Нос, сударь, нос! Говорю я вам — нос в два аршина с четвертью!..

Не взглянув ни на хозяйку, которая сидела с Гензюсом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом повторяла с Виктором песню собственного сочинения, сер-

---

<sup>1</sup> Игра слов — *montagne* и *Montaigne*. (Примеч. автора.)

дитый герой перешагал через комнату, ворча, и, не поклонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя с лестницы, он приговаривал:

— Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне дорого заплатите за эту обиду, да, да, господин Сар-сур-сир,— между тем как наконецник волочащейся по ступенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк подков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был далек от дому и мыслей его обитателей.

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайерзена. Старик ходил по комнате, против своего обыкновения, весьма скоро; на лбу его еще видны были морщины досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Ласково притянул он ее к себе и поцеловал в голову.

— Добрая девушка! — сказал он, — не правда ли, ты еще не хочешь покинуть отца своего?

— Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюшка? — робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, врасплох.

— Так, милая, так; мне пришло на мысль, что весною видел я молодых ласточек, которые чуть оперились и хотели покинуть кров родимый; бедняжки попадали из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки похожи на ласточек, Жанни..

— Не знаю, батюшка, только я не желала бы век разлучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с... Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас попрошу.

— Изволь, изволь, моя милая; конечно, тебе понравилась какая-нибудь игрушка: перстенок, или шаль, или заморская птичка? Хоть райскую куплю, душенька; плути купцы ухитрились и в раю найти товар для вас. Говори; я ничего для тебя не пожалею.

— О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ничего не остается желать в этом отношении, но... но вы не рассердитесь, батюшка?

— Рассержусь, если ты долее станешь скрываться. Нужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу такую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли мадам поученее, я найду такую, перед которой и мадам Сталь — не больше как словесная пирожница; хочется ли танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что протанцует тебе гавот в бутылке.

— Вы все шутите, батюшка... а я...

— А ты небось в первый раз вздумала важничать? Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебе в голову?

— И в сердце, батюшка... Мы... я, Виктор...

— Да, кстати, друг Виктор,— сказал хозяин, прерывая ее и дружески сжимая ему руку,— знаешь ли, что нам скоро должно расстаться?

— Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин мой. Нам должно расстаться или ненадолго, или навсегда. Коротка будет речь моя: ни мой, ни ваш откровенные нравы не имеют нужды в длинных околичностях и блестящих словах... Я люблю дочь вашу, она любит меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный словом вашим, я по окончании войны прилечу сюда жениться.

— Жениться!..— вскричал с изумлением Саарвайерзен, отступая на три шага.— Жениться? Это коротко и ясно, Виктор, и быстро, хоть куда, да едва ли и не безрассудно также! Сегодня, никак, целый свет взяла охота свататься на моей дочери: не успел сжить с рук этого фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтаня, и другой готов уже на смену.

— Я смею надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите меня на одну доску с этим искателем кладов?

— Сохрани меня бог, два аршина с четвертью. Я скорей бы согласился на своей фабрике век выделять попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей моей ткани!

— Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел на то единственного, по-моему, права: ее взаимности и пламенного желания сделать ее счастливою!..

— Любезный батюшка, я сердечно люблю Виктора!— вскричала Жанни, ласкаясь к нему.

— Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая... Скажи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце?..— возразил отец.— Девушки еще за куклами так же часто говорят люблю, как дьячки *аминь*, несколько не понимая, что это значит, и я дивлюсь только одному, как смела ты сказать это слово чужеземцу, не спросясь ни отца, ни матери, и раньше восемнадцатилетнего возраста. Что касается до тебя, Виктор, тебе не мудрено было полюбить хорошенькую девушку и единственную наследницу!..

— Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благосклонности, но не в уважении. Я имею в России независимое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы я подал вам повод сомневаться в моем бескорыстии. Отдайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду не менее счастлив, не менее благодарен... Я буду богат, когда Жанин принесет мне в приданое любовь свою и согласие ваше...

— Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще лучше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам, есть ли в твоём предприятии хоть нитка благоразумия? Я знаю о тебе столько же, как о летучей рыбке, которая взлетает над морем и опять скрывается в море. Не обижаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при записке в долговую книгу супружества надобно бы для дочери желать должайшего знакомства и вернейшей поруки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен опасностью. Монтань уже подозревает что-то и не преминет донести своему правительству, у которого я давно на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться тихомолком, куда минут смутные обстоятельства. Кроме того, волей и неволей мы в войне с русскими, и бог весть, когда она кончится. Да если б и кончилась скоро,— скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? Посуди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться с любимой дочерью...

— Даю вам священное слово каждые два года приезжать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда поселиться с вами...

— И этого не хочу, любезный Виктор... Жена должна для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не заикнулся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридевять земель... Она так молода, ты так ветрен, что через полгода, статья может, оба не вспомните и не захотите узнать друг друга.

— Если б нам не суждено было видаться до второго пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу моего сердца,— сказал Виктор.

— Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем,— присовокупила Жанни решительно.

— Все это очень громко и очень ломко, друзья мои;

вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непродолжительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша не погаснет ни от времени, ни от препятствий, и по тому-то самому полгода-год разлуки нисколько не помешает делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и найдешь Жанни с теми же чувствами,—с богом, я не стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о тебе, а Жанни испытает себя.

— Могу ли я принять это за неизменное слово? Можем ли променом колец заверить будущий союз наш?

— Что касается до моего слова, любезный Виктор, ты можешь построить на нем замок, не воздушный замок, разумеется, а другое считаю излишним. Зачем надевать на себя путы, бесполезные между людьми благородными и предосудительные, если судьба разведет вас... Ты человек военный, тебя могут убить, и тогда Жанни останется вдовою, не быв супругою. Теперь обручение ваше походило бы на обручение дожа с морем.

— Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не вздорная прихоть, нет,—это утешение сердцу, это залог будущего счастья... Скрепите же его, освятите его своим благословением, дайте мне отраду считать себя не чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право называть Жанни своею невестою, называть вас отцом своим...

Виктор склонил колено, прижимая руку старика к груди...

— Батюшка,—воскликнула Жанни, возводя к нему заплаканные очи и obejmая его колена,—сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих!

— Полно, полноте, дети! — вскричал почти тронутый старик, вырываясь из их объятий.— Что это за картина венецианской школы! Что это за водевильные песни... Встаньте, утешьтесь... И я с вами разрюмился... слезы каплют у меня с лица, будто с молодого сыра. Встаньте, говорю я вам; я дал слово, и более ни слова... Не требуйте ничего лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто-нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время обдуматься.

Виктор ясно видел, что это полусогласие было чуть-чуть не отсроченный отказ; Жанни глотала все доказательства отеческие как зерна перца; но делать было не-

чего, и они оба, поцеловав у старика руку, удалились с кислосладкими лицами.

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассыпая проклятия на обе стороны; досада его раздражалась еще более тряскою рысью огромной фризской лошади, на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, то влево по широкому седлу. Спутник его, морской солдат самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скорчившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коротенькую трубку, при каждом скачке капитана приговаривал:

— Проклятые лошади!

— Лошади и люди, Брике, вода и земля — все негодно в этой несносной стороне, *douze cents bombes!*<sup>1</sup>

— Это и мое мнение, *mon capitaine!*<sup>2</sup> — примолвил Брике.

— Это и мое убеждение, Брике, мое душевное убеждение. Что такое здешние мужчины? Гордые лавочники! Что такое здешние дамы? Бестолковые поварихи. А девушки? Это ходячие кувшины с молоком. Никакого тона, *mon cher*<sup>3</sup>, никакого умения жить на свете, ни малейшего взгляда отличать достоинства... Для них кусок лимбургского сыра с червями предпочтительнее любого дворянина с тринадцатью поколениями предков!

— Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и я, право, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней...

— Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была одна шутка, *douze cents bombes*, если не шутка! Я только для забавы посватался на дочери суконника, и как ты думаешь, он принял мое предложение?

— Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнутыми карманами и сердцем, — отвечал лукаво Брике.

— *Rien moins que ça*, Брике, ничего менее этого: он дерзнул отказать мне...

---

<sup>1</sup> Тысяча двести бомб! (фр.)

<sup>2</sup> Капитан! (фр.)

<sup>3</sup> Дорогой мой (фр.).

— Вы шутите и со мною, капитан!.. Полагаю, что в его кочане немножко поболее смысла.

— Весь его смысл не стоит пары собачьих подков, Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень важный человек, оттого что на полу у него бархатные ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика птица! Да если б его сукном можно было обтянуть земной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда отсмею ему насмешку. Не ему чета были бургомистры амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней серебром, а его-то и подавно можно просеять сквозь суддебное решето.

— Не только можно, да и должно, капитан,— он за-  
костенелый оранжист.

— Он мятежник,— это по всему видно. Во-первых, читает английские газеты.

— Во-вторых, богат, как жид.

— В-третьих... да что за счеты? Виноват кругом, да и только.

— В-четвертых, держит у себя подозрительных людей.

— Каких подозрительных людей? — сказал Монтань, обернувшись к своему оруженосцу.— Про каких людей говоришь ты?

— А вот изволите видеть, *mon capitaine*: недели с две тому назад ходил я с товарищами дозором...

— Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу слышать, Брике, но попадешься — пеняй на себя: Наполеон не любит дележа.

— Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать города, кто — ломать сундуки.

— В том только разница, что кто ограбит королевство, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель: о каких подозрительных особах говорил ты мне?

— Ходя дозором, как имел я честь доложить вам, увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего нареченного тестя. Вот меня и взяло любопытство: дай посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу...

— Во сне или наяву, Брике?

— Я бы желал тогда быть на моей койке, капитан, и храпеть во славу божью, вместо того чтоб дрожать,

увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких страшных с ног до головы, что наши саперы старой гвардии показались бы перед ними голубками; они говорили таким дьявольским языком, что у меня и до сих пор звенит в ушах.

— Это, наверное, английские зажигатели, Брике.

— Они так и глядели, капитан, как будто у них в каждой пуговице сидело по целой роте чертей. Вот и заметил я, что молодой человек, который казался их атаманом, увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с во-  
плем кинулись за мною в погоню.

— Ты, помнится, сказывал, что их было шесть человек?

— Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что оба они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была претемная, кинулся на землю и прижался к ней, как подошва. Они долго искали меня, но, видя, что ничего не видно, ждали, ждали, *да и пошел!*

— Чудеса ты рассказываешь, Брике; ну, что ж потом?

— Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь...

— И только?

— О нет, капитан, совсем не только! Сегодня, за полчаса перед этим, после вашего обеда, стою я смиренно в поварне. Выходит туда так называемый племянник хозяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал клочок от вашего счета с президентом муниципалитета, или нет бишь, от...

— Чтоб черт взял тебя с твоими присказками! Говори коротко и просто.

— Чего проще этого, капитан, что он раскурил сигарку и сказал мне: «Спасибо, друг мой!»

— Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и вперед закаешься терзать меня своими семимильными рассказами!

— Тут каждое слово — дело, капитан. Вот изволите видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, ан это тот самый молодой человек, который за мной гнался с мельницы.

— Может ли быть? Неужто в самом деле? Да это находка, друг мой! Теперь говори, что я не гений, я с ничего заметил в этом насмешнике врага Франции и уж пугнул за него хозяина порядком.

— А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны у него на фабрике. Старик сказывает, что они машины

сты, да черт ему верит. Верно, бьют фальшивую монету, ведь неспроста же он так богат.

— Еще лучше, еще превосходнее, Брике!.. Теперь и у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер. Завтра же, чем свет, донос правительству, что такой-то фабрикант печатает у себя возмутительные прокламации, собирает оружие, а что главное всего, держит англичан для зажжения города... Славно, Брике... бесподобно! Будет чем погреть руки!

— И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и богачествовать. Разве даром мы великая нация!

— Как попадет к нам в лапки да пристращают в военном суде дюжиною свинцовых пуль, так радехонек будет отдать свою Жанни за самого сатану, не только за меня, дворянина с тринадцатью поколениями... Государственная измена — это не шутка, г-н Сарвезан, — это не шутка!

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи.

## ГЛАВА VIII

Вот так-то свет идет, но почему он так,  
Не ведает того ни умный, ни дурак.

*Фон-Визин*

Поутру, на другой день, приказ захватить Саарвай-ерзена был подписан комендантом Флессингена и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шума. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.

Случай — эта повивальная бабушка всего худого и доброго — натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который как аист шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань оста-

новился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный прутник, открывающий клады и ключи; этот прутник в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.

«Тут что-нибудь недаром...— подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером.— Гензиус выходит от банкира. Гм, ге! Этот рыбак—самый удалой смоглер и уж не раз вырывал у меня из-под носа лакомые куски,— верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.

— Bonjour<sup>1</sup>, дорогой Жензиус,— сказал он.

Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.

— Куда идете? — спросил он.

— Прямо по дороге,— отвечал он.

— Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натошак и голландский ум может летать по крайней мере как волан.. Но так как я уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер! Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что цежу сквозь зубы.

— Портер? — произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.

— Благодарю покорно,— отвечал он со вздохом,— ни минуты нет времени, до другого раза, капитан...

— И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать брюхо.

— Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.

---

<sup>1</sup> Здравствуйте (фр.).

— Жаль, право, жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом-подряде на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поеду в Фламгауз.

— И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником,— ныне начало месяца!

«На мельнице? Ага! — радостно подумал Монтань.— Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я вытащил из твоего носу червячка и без завтрака».

— Брике! — вскричал он,— следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена, и всех, кто в ней, захвати и веди в город за конвоем... мужчин и женщин. Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика.

— Будет исполнено, капитан! — отвечал Брике.— Только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки,— только из этой поживы они не брали законной себе доли.

— Будет всем пожива, — отвечал капитан, потирая руки.

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавиться хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.

К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться; они, кажется, ждут чуда, которое отвратит ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставанья; она всегда для них внезапна и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и наконец все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило... Саар-

вайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружину; они звонко пробили пять.

Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.

— Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся,— произнесла она,— прости!

Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза канула на нее.

— Достойная Жанни,— сказал он,— пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.

— Два аршина с четвертью! — вскричал отец, обнимая отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои.— Откуда набрались вы этих романтических покровок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. В чудные веки мы живем, в чудные веки! — ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь.— Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста... Смотри, пожалуй.

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Дендермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, сная печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.

— Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль? — сказал урядник.

— Что лягушки здесь царствуют, а люди живут, как у нас лягушки,— отвечал один.

— Вот уж напрасно охаял Голландию,— возразил другой,— стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь недоставало? Можжевельной — хоть не пей, свежини вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.

— И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев,— чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофей!

— Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскоми-ну набили. Видел, брат, я, что они с кофия-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего,— весь в дырах! Небось молодые сыры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фуите фунта два будет!

— У всякого своя заведенция...— примолвил Юрка.— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, там такое было житье, что коли во сие увижу, так, я думаю, сыт буду.

— У лентяя вечно масленица на уме,— возразил урядник,— то ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехы вдвое. Нароботаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурей в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: «марсовые, наверх!» Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!

— Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронскими! — воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихую зыбью. Запорошенные ннеем дороги и плотины, будто раскинутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.

— Фландеркин-флаат! — произнес проводник, ударяя в ладоши.— Он здесь должен был нас дожидаться.

После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.

— Sapperloot! — вскричал он.— Я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова,— это неслыханно! Я его так взогрею, что мои талеры растают у него в кармане... Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и наконец Саарвайерзен, послав на Викторовой лошади проводника влево, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его до-

мике, восклицая, что он разбудит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану!

Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе.

Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решил пуститься по берегу влево, для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поравнявшись с тем местом, где выброшен был бурей на берег, заметил он нечто белое.

— Посмотри,— сказал он уряднику,— мне что-то видится впереди!

— Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!

В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.

— Тише, тише, ребята! -- сказал Белозор.— Мне кажется, подле ней вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья; это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроём врасплох, как утят в гнезде.

Едва дыша, приближался Белозор впереди всех... Но французы спали крепким сном, и захватить их было нетрудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепя рот. Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.

— С какого ты судна? — спросил его Виктор.

— Мы таможенные солдаты,— отвечал он,— с брандвахты (patache) le Friseur.

— Кто у вас капитан?

— Монтань-Люссак.

— Старый знакомый. А зачем вы на берегу?

— Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в середину края; мы берегли шлюпку.

— Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.

Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.

— Не прикажете ли остальных на упокой? --- сказал Юрка, замахиваясь багром на связанного солдата.

— Пошел в свое место,— гневно вскричал Виктор,— и помни, что русские не бьют лежащего. Все ли готово?

— Все до крошки! — отвечал урядник. — Крестись, ребята, весла на воду... гребите!

Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она будто поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и, проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.

Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил перед нею мир, лежавший доколе перед ее очами темною громадою, увлечен был от ней судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою... Сердце ее, кипящее юностью, легко приняло впечатление страсти, как плавкое стекло, и, как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом...

— Где ваш батюшка? Где все они? — спросил он торопливо.

— Там, где бы желала быть и я,— отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.

— Ради «Groos Buch», юнгфров, скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!

— Батюшка в опасности?! — вскричала, вспрыгнув, испуганная Жанни. — За что? от кого в опасности?..

— Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан...

— Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!

— Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгфров... Говорил я вашему батюшке, что быть беде за рус-

ских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш батюшка держит у себя зажигателей-англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом... Спасибо за уведомление бургомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы...

— Заключить, судить!... умертвить его! У тигров всегда виноват человек... Недоставало только этого к нашему несчастью... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведоьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти брильянты, которые получены только что из переделки...

— У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; притом же...

— Спешите, сударь, говорю я вам! — воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он, наверное, найдет отца ее. — Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.

— Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня, — говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь, — беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храни бог, как девушка.

Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала, прервал речь всадника, и скоро умолк скок опытного гонца.

Жанни была в неописуемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий... Через час места послышался стук у дверей.

— Отворите, — произнес грубый голос, — отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!

Это был Брике с командою.

— Боже мой, — вскричала хозяйка, — это голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!

— Что ты колдуешь там, старая ведьма? — возгласил Брике. — Отворяй, или мы высадим двери прикладами!

— Что нам делать? — шептала Жанни хозяйка. — Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!

— О вещах не горюй, старуха, — возразил хозяин, — добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..

— Что угодно богу, — с твердостью сказала Жанни, — я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников... Хозяин, удержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду...

С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.

Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги:

— Ватюшка! Виктор!.. — кричала она, слыша за собою гонящихся солдат. — Виктор! — повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шлюпку, но слабые звуки умирали на ветре. — Спасите! — восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском. — Виктор! — вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.

## ГЛАВА IX

...За счастьем, кажется, ты по пятам  
несешься,

А как на деле с ним сочтешься, —  
Попался, как ворона в суп.

*И. Крылов*

Знакомый голос проник до сердца Белозора; шлюпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка... С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своеволия? Нет, нет... Он бережно поднял драгоценное бремя и прынул в шлюпку...

— Отваливай! — вскричал он, и шлюпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.

— Остановитесь! — летело вслед ему. — Стой! или мы будем стрелять! — кричал Брике. Ружья патруля сверкали.

— Позволяю! — отвечал Белозор, спуская курок пистолета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шлюпку, но мрак и волнение мешали цельности выстрелов.

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.

— Спасибо за парадные проводы! — кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом веслами быстрая шлюпка, шипя, избегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное ударение в уключины и плавное колебание судна погрузили Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя... Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Непостоянное течение менялось, туман неся над водами... С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.

— Держись на веслах! — сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.

— Мы заблудились, ваше благородие, — сказал урядник, — если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.

— И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого... Но постой, что колокол, раз, два, три!

Било восемь склянок. Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благого-

вением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зиждущего незримо и неотклонимо.

Колокол затих, гудя.

— Это должна быть ваша брандвахта! — вскричал с радостью Белозор к связанному французу. — Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!

— Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо фонарей по концам рей, — отвечал француз, ободренный близостью своих.

— Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь острить некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.

— На судне осталось только двенадцать человек, — отвечал он.

— Тем лучше, — сказал Белозор. — Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть теидером. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?

— Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку-Русь, знай наших иетронских! В огонь и воду готовы! — вскричали в один голос удалые матросы.

— Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать — копейка, — жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уклучинах; только бы добраться, а то все наше: пей — не хочу!

Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.

— Qui vive? <sup>1</sup> — раздалось с борта.

— Отвечай отзывом, — шепотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.

— Le diable a quatre (бес вчетвером)! — закричал тот.

---

<sup>1</sup> Кто идет? (фр.).

— C' est un bon diable (это добрый черт),— примолвил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор перескочил в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.

Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.

Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лесенке) к дверям и остановился послушать речей их.

— Ты прелюбезный злодей! — говорил Монтаню один из таможенных чиновников.

— Настоящий людоед на женские сердца! — примолвил другой.

— Небось на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц зашибу.— Это говорил Монтань.

— А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? — произнес первый голос.

— Ха, ха, ха! — отвечал капитан.— Голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.

— То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумею под этим не одни пальцы,— сказал другой,— но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?

— Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу как маршал, разграбивший провинцию. За здоровье нареченной моей!

— То есть за толстоту мешков ее приданого! — вскричали оба.

— Само собой разумеется,— возразил Монтань,— что я жену считаю приданым, а гульденy, будь они старше Нового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда она у нас за кормою, да, чай, уж теперь и сам к неожиданным гостям в гости собирается. Я велел привезти сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, et vogue la galère (плыви, корабль), как не отдать дочери за француза!..

— И старого дворянина,— молвил другой лукаво.

— И таможенного капитана императорской службы! — гордо воскликнул Монтань. — Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!

Все подняли бокалы, восклицая:

— Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты ошиплем!..

Дверь скрипнула, и Белозор упал, как звезда с неба, и, напив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтобы они подождали...

— Здоровье императора Александра! — крикнул он; но гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.

— Пейте, господа! — грозно воскликнул Белозор. — Или я заставлю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели ошипать сотню русских, ваше желание исполнено: я русский!

— Это уж чересчур дерзко, — вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот. — Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шлюпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.

— Что я приехал на твоей шлюпке, это сущая правда, капитан! Только меня не привезли сюда, я сам за долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым... Что вы глядите на меня?.. Вы мои пленники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!

Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, засверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый капитан залез под стол.

— Вы можете вести переговоры из вашей крепости, — сказал ему Белозор, — но знайте, что прелиминарная статья есть все-таки здоровье императора Александра... Да здравствует победитель Наполеона!

Французы, морщась, выпили свои бокалы.

— Теперь, господа, пожалуйста ваши шпаги; я ручаюсь вам за целостность вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти и матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и так

же выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фальконет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.

Сказано — сделано. Не зная зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогали русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покатился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не вернула, что она видит это не во сне? Так чудно, так необычайно казалось ей все, что происходило.

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и наконец Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня!». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылается обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора... Молодой мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фальконета и из всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии, батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно, — голос его замирал в стоне ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня!», погонные пушки были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал:

— Обдуй фитиль! Пли!

Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель, и пошло рикошетами далее.

— Покуда снимают с нас только шапки, — сказал

Белозор, глядя на сорванный топсель,— но скоро доберутся и до головы.

— Вторая! Пли! — раздалось с форкастля.

Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский офицер упал на палубу.

— Ядро виноватого найдет! — сказал один матрос.

— Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте,— молвил Юрка.

— Полно дорожиться, и пятьдесят линьков было бы довольно,— возразил, шутя, урядник.

— Это еще яблочки,— сказал третий,— а вот скоро попотчуют смородиной,— держите шире карманы!..

— Что вы тут болтаете, как сороки! — вскричал Белозор.— Кричите-ка громче пушек, а не то дорога нам будет расплата за непрошенные гостинцы.

— Не стреляйте! — заревели матросы на тендере.— Мы русские, мы нетронские!

Фитиль остановился над пушкою.

— Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские,— раздалось сверху.

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось: их сочли брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задушаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» — и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексичу, как старому другу найденного.

— Ну, брат, чародей ты, Виктор,— говорил он, обнимая друга со слезами на глазах,— на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспрашивали,— ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, тлеешь на дне морском, словно оторванный верп, ты прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонек!

— Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.

— И что за счеты между своими,— ты бы из воды сух вышел... Да это что у тебя за яхточка на бакштове? — примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, ко-

торая робко озиралась на незнакомцев.— Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.

— Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компании, покуда я объясняюсь с капитаном.

— В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.

— Это будет тебе отместкой за встречу!

Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, и, когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, переменя ласковый на строгий тон, он спросил его:

— Какую девушку привезли вы с собою?

Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая головой, слушал доводы, почему ее необходимо должно было взять с собою.

— Все это прекрасно, Виктор Ильич,— возразил он,— и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное возвращение с призом, даже громкая встреча,— все обратит на вас внимание всех офицеров соединенных флотов; но это же самое возлагает на вас тройную обязанность сохранить свое имя не только без упрека, даже без сомнения... А кто, не зная вас, не подумает, что этот роман изобретен для прикрытия любовной связи!

— Капитан!..— вскричал Белозор, вспыхнув.

— Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше узнать от друга то, что могут говорить о вас насмешники на глазах или намекать вам о том лично. Вы будете сердиться, а над вами станут смеяться; вы будете стреляться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей существенности. Во-первых, вспомните, как строго запрещают морские законы присутствие женщины на корабле в военное время; с какими же глазами я поеду рапортовать о том английскому адмиралу?.. Конечно, первый вопрос его будет: что она — жена или сестра господина лейтенанта?

Белозор мрачно потупил очи.

— Положим, что я представлю ему неотвергаемые причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить ее в руках французов, положим, что он всему охотно поверит,— могу ли, однако ж, я передать это убеждение всем англичанам, которые никому не уступят в злословии? Но допустим, что эта мнимая любовная выходка не только не повредит вам во мнении старых моряков, но сделает вас героем молодых; не должны ли вы позаботиться о чести этого невинного существа, которому вы случайно стали единственным покровителем? Доброе имя девушки, Виктор Ильич,— крылья мотылька: одно прикосновение уносит с него золотой пух невозвратно.

— Это был безрассудный поступок с моей стороны,— сказал Виктор печально.

— По крайней мере, несчастный случай. Кто будет защищать ее от насмешек, кто будет иметь право отомстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на корабле, не подвергая теперь — своей скромности и всегда — своего доброго имени?

— Вы меня ужасаете!.. Но мог ли я, должен ли был поступить иначе?.. Что прикажете делать мне теперь, капитан?

— Прошу и советую, если вы цените уважение всех людей благомыслящих, женитесь на ней.

— Жениться?! — вскричал изумленный нечаянностью Белозор. — Мне жениться?..

— Конечно, вам. Вы не удостоили меня полной доверенностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа пробивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка вам нравится, то есть очень нравится?..

— Это дело не так страшное, капитан: она моя невеста.

— Какой же я чудак! — воскликнул с радостью капитан. — Уговариваю, когда надо было только намекнуть! За чем же дело стало? По рукам, да и к налою!

— Так скоро, капитан?

— Сей же час, сию минуту!.. Не должно, чтоб ни одна заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите, чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою каюту, и могу ли поздравить себя дружкой?

— И другом истинным, капитан! — произнес тронутый Белозор, простирая к нему руку. — Я сам бы никак не придумал уладить дело, хотя оно было самою лестною моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и

себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень богатые... подумают...

— И раздумают; нужда переменяет даже законы. Они сначала, быть может, и посердятся, потом поплачут, а потом простят и станут благодарить. Я иду распоряжаться.

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие самого адмирала белого флага не убедило бы его, но тут несколько слов капитана бросили искры в порох. Небольшого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходимость брака была слишком очевидна, и когда сердце заодно с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестой, украшенные юностью и любовью, весело приступили к брачному наложу. Николай Алексеич держал венец над невестой, краснея сам пуще ее и не зная, на которую ногу ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и толпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом ободрения. Вся команда, взмостясь на пушки, с любопытством глядела на обряд, не виданный под палубами; слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск валов и завывание ветра придавали какое-то священное величие этому торжеству.

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его неожиданно, но всего сладостнее лобзание венчанья, когда в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать милую *своею*. Какой-то неизъяснимый, священный восторг проник молодых, когда они слились устами, запечатлевая поцелуем союз супружества... Это был задаток будущего блаженства, будущего благополучия. Шампанское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пылая, как роза, благодарила всех присутствующих.

— Приятной ночи! — сказал капитан, раскланиваясь с лукавою улыбкою, и задернул двери.

Канва для пылкого воображения.

Путру захваченные Монтанем голландцы возвратились на берег и привезли матери Жанниной известие о ее замужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чатам, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, был Саарвайерзен. Старик плакал и смеялся, сердился и радовался вместе, но все кончилось как нельзя лучше. Через неделю получили письмо от матери, в котором она присылала свое благословение, но, между прочим, уве-

домляла, что она горько плакала от мысли, как несчастна была дочь ее, не имея для свадебного стола секретного яблочного пирожного и для брачной постели пуховиков гагачьих! Жанни улыбнулась и, зарумянившись, склонилась в объятия своего Виктора.

— А, а!..— сказал Саарвайерзен.— Два аршина с четвертью, видно, ты была счастлива и без яблочного пирожного.

## ЭПИЛОГ

В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встретить моряка-брата, который должен был возвратиться из крейсерства на флоте. Погода была прелестная, когда возвестили, что эскадра приближается. Сев на ялик у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на батарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гуляющих; одни, чтоб встречать родных, другие, чтоб поглядеть на встречи. Ленты и перья, шарфы и шали веяли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагрузка, оснастка по кораблям, крик снующих между ними лодочников и торговых — словом, вся окружающая картина деятельности оживляла каждого какою-то европейскою веселостью. Только одни огромные пушки, насупись, глядели вниз через гранит бруствера и будто надувались с досады, что их топтали дамские башмаки.

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопросами со знакомыми, поклонами с полужнакомыми и приветствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновенною красотою одной высокого роста дамы; она стояла на парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Ветер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал роскошные ее локоны и обдувал стройные формы стана, — но какого стана! Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой держала она шелковый зонтик, а левую опирала на плечо мальчика лет осьми, миловидного, как амур. Он так нежно припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, оба они составляли столь прелестную купу, что я загляделся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Есть возраст, милостивые государи, в который шум женского платья кажется нам очаровательною музыкою Эоловой

арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гармоникой сфер.

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; шпоры мои бренчали на чугуне пушки, сабля исторгала искры из гранита, но все эти проделки не выманили у прекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего внимания. Самолюбие мое было обижено до конца ногтей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый султан, я полагал, что имею право по крайней мере на ласковый взгляд каждой женщины; но это подстрекало меня; я хотел упорством победить упорство и, как бог Термин, прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля взгляды и в отмщение наводя свою трубку на море.

Флот приближался как станица лебедей. Корабли катились величаво под всеми парусами, то склоняясь перед ветром набок, то снова подымаясь прямо. Легкий передовой фрегат в версте от Кронштадта начал салют свой... Белое облако вырвалось с одного из подветренных орудий, другое, третье — и тогда только грянул гром первого. Дым по очереди салютующих кораблей долго катился по морю и потом тихо, величественно начал всходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул последнего выстрела, корабли, по сигналу флагмана, стали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Несколько минут царствовало всеобщее молчание. Внимание всех обращено было на быстроту и ловкость, с которою команды убирали паруса, что называется, на *славу*, и вдруг заревела пушка с Кроншлота, — все дрогнуло: дамы ахнули, закрывая уши! Ответные семь выстрелов исполинских орудий задернули завесой дыма картину... Когда его пронесло, весь флот стоял уже в линии, и несколько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по морю, спеша на радостное свиданье.

Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купеческие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала пыль легкая гичка, с широкой зеленой полосой по борту. Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял в ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной плите.

— Это он, это твой папенька!.. — вскричала радостно красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась к пристани. Вспрыгнув опять на ограду, она простирала руки навстречу супруга; огонь нетерпения пылал в щеках ее, взоры ее лобзали уже милого гостя... И он увидел ее,

увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отверзши уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перепрыгнуть на берег, он был живое изображение мужественной любви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной незнакомки: я любовался уже одной душою ее, я мечтал о завидной доле счастливца — ее мужа.

— Шабаш! — крикнул урядник, и весла ударились в лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы сильнее ударить, сложились они, и два крюка словно когти возникли пред грудью...

— С какого корабля? — спросил часовой, между тем как шлюпка описывала быстрый полукруг.

— Фрегата «Амфитриды».

— Кто офицер?

— Капитан второго ранга Белозор! — отвечал урядник.

Супруги уже лежали друг у друга в объятиях.





## АММАЛАТ-БЕК

*Кавказская быль*

*ПОСВЯЩАЕТСЯ НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОЛЕВОМУ*

Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!

*Надпись дагестанского кинжала*

### ГЛАВА I

Была джума<sup>1</sup>. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удалства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких ту-

<sup>1</sup> Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чаршамба (среда), пханшамба (четверг), джума (пятница). (Примеч. автора.)

манах<sup>1</sup>, садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях<sup>2</sup>, или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «качь, качь (посторонись!)» от всадников, приготавливающих к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то, возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечные дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам,— вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротой народа. Солище лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... Перед ним несли всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнью.

---

<sup>1</sup> Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (панталонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя слова волинского летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом седиши» — «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унижительно, как думает историк. (Примеч. автора.)

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелились.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезду, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала<sup>1</sup> со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термоламы. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогами камнями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потевнями и со стремянами черного хорасанского булата под золотою насечкою. Двадцать нукеров<sup>2</sup> на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и по-

---

<sup>1</sup> Первые шамхалы были родственники и наместники халифов тамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным именем. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Нукер — общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее. (Примеч. автора.)

клоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики приветствия победителю, иногда кони спотыкались и всадинки редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь на скачку. Нукеры его один по одному вбегали в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смотрел на удалцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стремянах, и наконец наезднически кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не по пал на всем скаку в брошенную перед ним шапку; он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

— Раздайся, раздайся! — послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпалось по сторонам, дав место Аммалат-беку. На расстоянии одной версты стояло десять шестов с подвешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стремянах, приложился назад, паф — и шапка упала наземь, не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводами, сбил шапку с другого, с третьего и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна; подкова взвилась и, свистя, упала далеко назад; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его в воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился вперед с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стоявший стоймя на стремях, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения,— выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игнд! игид (удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив поводя в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек<sup>1</sup> его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек, приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

— Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца<sup>2</sup>, заставляет его скакать через ров шириною шагов семи.

— И он не прыгает? — вскричал нетерпеливый Аммалат. — Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, испрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине, доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрыгнуть через ров, но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул.

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не му-

---

<sup>1</sup> Эмджек — грудной, молочный брат; от слова *эмджек* — сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая *теке*. (Примеч. автора.)

чил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов; Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли. И в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаху старый конь, не смея прыгать, он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся на-земь бездыханен.

— Так вот награда за верную службу! — сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

— Вот награда за послушанье! — возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

И вдруг загревели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Курпского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владельцем Дербента. Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан\*\*\*, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкой на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходитья кучками, разумеется, потолковать, каким бы средством отделаться от постом, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на транке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: хонгяльды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен сен-немамусен (как живешь-можешь), добрались и до него.

бежного при встрече с азиатцами вопроса: «что нового? на хабер?»

— Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал,— отвечал им капитан, довольно чисто по-татарски.— Да вот, кстати, и кузнец,— продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна.— Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове араччин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя? — сказал капитан.

— Очень понимаю! — отвечал кузнец.— Тебе надобно подковать свою лошадь...

— И ты сам должен подковать ее,— отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

— Сегодня праздник: я не стану работать.

— Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу.

— Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

— Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка? Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

— Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит, Аммалат-бек мой ага (господин).

— То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель: я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться. Слышал?

— Слышал и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

— А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый

солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширялся, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и наконец раздалось: «Этого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немытые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

— Прочь, бездельники! — закричал он гневно, положив руку на ручку пистолета. — Молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью.

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно: кто был поробче — давай бог ноги, кто посмелее — прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим (что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла билла бнтмы эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволяю).

Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он, едва завидел русских, как, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей, задел и опрокинул две пирамиды Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб сворачивать в сторону, дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтобы они не приближались,

схватил под уздцы коня панцирника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

— Стой, кто ты? — было восклицание и вместе вопрос часового.

— Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского<sup>1</sup>, — хладнокровно отвечал панцирник, отрывая руку часового от поводьев. — Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах<sup>2</sup> по себе славную поминку. Переведи ему это, — сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

— Это Ахмет-хан! Ахмет-хан... — раздалось между солдатами. — Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлиное дело... Бездельники в куски изрубили наших раненых!

— Прочь, грубиян! — вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду. — Я русский генерал!

— Русский изменник! — зашумели множество голосов. — Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

— Только в ад пойду я с такими проводниками, — сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно понгрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

— Что у вас за споры, приятел? — спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидев хана. Те, которые были поробче или посмир-

---

<sup>1</sup> Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женись на вдове хана, единственной его наследнице. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Тогда отряд наш, состоящий из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмий Каракайдакский, аварцы, акушницы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью — и с уроном. (Примеч. автора.)

нее, очень смутились от этой встречи: того и гляди, попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все голово-резы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказал, в чем дело.

— И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо,— громко сказал хан окружающим,— когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы! трусы!

— Что мы сделаем! — возразили ему многие голоса.— У русских есть пушки! есть штыки!..

— А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман русского пристава для вас святее главы из Курана. Сибирь пугает вас пуще ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронутو живо.

— Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? — слышалось отовсюду.— Освободим кузнеца от работы, освободим! — закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддержания духа запальчивости между татар, а с двумя остальными быстро поскакал в утах<sup>1</sup> Аммалата.

---

<sup>1</sup> Дом по-татарски *эвэ*; *утах* — значит палаты, а *сарай* — вообще здание. *Гарам-Хане* — женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда слово *игарат*. Русские все это смешивают в одно название — *сакли*, что по-черкесски значит дом. (Примеч. автора.)

— Будь победитель! — сказал Султан-Ахмет-хан Ам-малат-беку, который встретил его на пороге

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

— Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

— Зависит от тебя, — отвечал пришелец. — Настоящему наследнику шамхальства<sup>1</sup> стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

— Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу

— Как льву, прятать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

— Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе?

— Чтобы и во сне не видеть, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы<sup>2</sup> из твоего сада.

— Что могу я предпринять с моими силами?

— Силы — в душе, Аммалат!.. Осмелся, и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? — промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. — Это голос победы.

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

— Буйнаки возмутились, — произнес он торопливо, — толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

— Бездельники! — вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. — Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника.

— Я уже уннмал их, — возразил Сафир-Али, — да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-

---

<sup>1</sup> Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшему брату. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль — доллар, собственно, значит *розы*, но хан намекает на кызыль — *ровец*. (Примеч. автора.)

хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

— В самом деле мои нукеры это говорили? — спросил хан.

— Не только говорили, да и примером ободряли, — сказал Сафир-Али.

— В таком случае я очень ими доволен, — молвил Султан-Ахмет-хан, — это по-молодецки.

— Что ты сделал, хан? — вскричал с огорчением Амалат.

— То, что бы тебе давно следовало делать.

— Как оправдаюсь я перед русским?!

— Свинцом и железом... Пальба загорелась, судьба за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать русских...

— Они здесь! — возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные толпы татар в дом владетеля.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Амалат приветливо встретил разгневанного гостя.

— Приди на радость, — сказал он ему по-татарски

— Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, — отвечал капитан, — но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Амалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общему нашему царя!

— В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских... — сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках, — когда им бы должно было убивать их.

— Вот причина всему злу, Амалат, — сказал с гневом капитан, указывая на хана. — Без этого дерзкого митейника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Амалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Амалат-бек! именем главного командующего требую: выдай его.

— Капитан, — отвечал Амалат, — у нас гость — святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову — позор некупимый; уважьте мою просьбу, уважьте наши обычаи.

— Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русских иконы, вспомни долг свой; ты присягал русскому гонимому

дарю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

— Скорее брата выдам, чем гостя, г. капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей вине мне диван (суд) аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником и буду им!

— И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове *изменник* кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием подбежал к капитану.

— Изменник я, говоришь ты? — сказал он. — Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностью. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не требовали невозможного или унижительного. И вдруг захотели, чтоб я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя, самые скалы рухнули бы на голову сына-отцепродавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила и Башлах дерзость... Реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

— Эта кровь зовет мсты! — вскричал капитан сердито. — И ты не уйдешь от нее, разбойник!

— А ты от меня, — возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

— Ты погубил меня, — произнес Аммалат, всплеснув руками, — он русский и гость мой.

— Есть обиды, которых не покрывает кровля, — возразил мрачно хан. — Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих, и ударим на неприятелей.

— За час еще я не имел их... Теперь нечем их отра-

жать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; люди в разброде...

— Народ разбежался! — в отчаянии вскричал Сафир-Али. — Русские идут в гору скорым шагом. Они уж близко!!

— Если так, то поезжай со мною, Аммалат, — молвил хан. — Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линии... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

— Едем!.. — решительно сказал Аммалат. — Теперь мне одно спасение — в бегстве... Не время теперь ни споров, ни укоров.

— Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

— И я с тобой, — произнес со слезой в око Сафир-Али, — с тобой в волю и в неволю.

— Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю, шамхалу. Не забудь меня, — и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

## ГЛАВА II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелье, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выiskanной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны

добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и наконец взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближайшей сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженной бородою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников, — продолжал мулла, — они объезжают селение!

— Верно, жиды либо армяне, — отвечал Нефтали, — им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы, и наши первые удалцы скажут оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку<sup>1</sup> и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски, — разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным, а теперь я и дареного барана вдаль не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок, и путь тяжел, — промолвил Сулейман, — пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кураном.

— У нас в горах и раньше Курана ни один путник не

---

<sup>1</sup> Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую митую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят. (Примеч. автора.)

выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои,— сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться.— На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседей; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычью? Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки выются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин<sup>1</sup>. Постой, приятель, я расчесу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ним, или кто-нибудь из нас тронх упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным иаездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и

<sup>1</sup> Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; на против, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне... Обоим сектам сии ненавидят друг друга от чистого сердца. (Примечание автора.)

висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Салам алейкум,— сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкум салам! — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стремях.

— Дай бог доброго пути,— молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

— Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! — возразил нетерпеливо противник.— Чего ты хочешь от нас, кунак?

— Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»

— Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

— Вы едете навстречу гибели, не взявши провожатого.

— Провожатого! — воскликнул путник.— Да я знаю все туринные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

— Я не уступлю шагу, куда не узнаю, кто ты и откуда.

— Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... нль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я подил хлеб-соль с отцом твоим и не раз обок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков

продают на станичном базаре его оружию!!! Нефтали! отец твой убит вчера за Терек: узнай меня!

— Султан-Ахмет-хан! — вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестью; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

— Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) — в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

— Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и порося помчались бы далее.

— Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими... и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, — значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, про рока добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу...

Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может загородить широкую дорогу на русских. Зачем же накликал себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померить с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня. Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, вареного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Передвигаясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, — столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прыдал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудной травой в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струей бежал с нагрудника; широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.

— Аллах-Берекет! — воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с

раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

— Ты уже не будешь носить меня как пух по ветру,— говорил он,— ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

— Оставь меня, Султан-Ахмет-хан,— сказал он решительно,— оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его... И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

— Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

— Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не попользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должен жить!

— Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так

для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским — святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье; но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью... Ободришь, друг Аммалат... Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

— Да, я буду жить для мести им! — вскричал он, — для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напости мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

— Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, — сказал он, — кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недрах утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали расстилать свою зеленую пелену, то вея из трещин опашалами, то спускаясь с крути длинными плетеницами и подобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких го-

лубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акок, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перебаты постепенно затихли.

— Это наши охотники, — сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. — Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развеял его внимание... Удар и удар еще... Выстрелы отвечали выстрелам и наконец слились в жаркую перепалку.

— Там русские! — вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. — Хан, — сказал он, ступая на землю, — спешите на помощь своим землякам: ваше лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни? — говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. — Прощай, Аммалат! — вскричал он наконец, услышав, как загорелась сильней пальба. — Я еду погибнуть на развалинах, разоряясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

— Садись верхом, — сказал он ему, — скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свищи

вые пули, а это медная, аварская<sup>1</sup>, моя милая землячка. Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рывтины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любуясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину: да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова

---

<sup>1</sup> Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды. (Примеч. автора.)

на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверною ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев, и едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

### ГЛАВА III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти — ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвела его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть: веки его опали как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчи-

нами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце — шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал останавливался на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил, и сердце вострепнулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; и первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не мнилось ей так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить

глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татаринном, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь,— отвечал он, стараясь приподняться,— и так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

— Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя),— возразила она.— Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснела еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азнатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень ред

ко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления — приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть слышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоех своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок. Главно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наре-

чий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Мечь для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турнитау, в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, исконн составляет наследие ханов, и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлны на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показывать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц. Нукеры ханские, на чсле и отважности коих опи-

рается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе<sup>1</sup>. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что недалеко появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.

— Я отдаю счастья! — вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удаливость свое перед горцами. — Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

— Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

— Неужели ты думаешь, — возразил тот гордо, — что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо...

— Охотно иду с тобой, — отвечал он. — Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами пошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

---

<sup>1</sup> Азиаты носят кинжал не на боку, а впереди. (Примеч. автора.)

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Куране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь ломает его, будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали им вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчишки далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр и рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлёкся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и усталости. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чуреки:

— В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменистым и чащею, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул... ан, на беду, зверь спал, закрыв мор

ду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голоса, товарища нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле... хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и добром славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, подумал я, повешу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя перед вами: судите, как положит аллах на сердце. Приговорите ли мне жить — буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть — и то воля ваша! — умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все жалели.

— Всякий себя охраняет, — говорили некоторые из обвинителей. — Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может, и нарочно предал, — толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

— Трус! — сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. — Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отомстить: ты клялся на Курае по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! — примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проводить ждть об останках буйнакского бека. У горцев священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастного узденя повлекли на конюшню ханскую — место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная вестъ скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, но зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой! — думала она, — зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня,

чтобы посмеяться после; так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

— Секине! — молвила она своей прислужнице, — пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача<sup>1</sup> расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плещ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядаясь в серебряные, вечно звучащие струны чистой воды, и потом, соясь в спай плитного пола, вился ниже и ниже. Одиноким луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее, и все это тем более множило печаль — первую печаль ее. Переливчатый свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горечь ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга: перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его.

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Амалата и, забыв все на свете, кинулась ему на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо, и наконец огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь не обсохшие еще

---

<sup>1</sup> Агач — семь верст. Он называется конным. Пешеходный — четыре версты. (Примеч. автора.)

слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастья; теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей, но они уже поняли друг друга.

— И ты, ангел, любишь меня? — произнес наконец Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. — Ты меня любишь?

— Сохрани, алла! — отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи. — *Любишь!* Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали камнями девушку; с ужасом убежала я домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

— Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили.

— Что значит *изменила*, Аммалат? Я не понимаю этого!

— О, дай бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла меня для другого.

— Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеться, но без них не тоскую; без тебя же на свете жить не хочется!

— Для тебя готов я умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся: то была прислужница Селтанеты.

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно.

Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

— Чуть завидел я павшего товарища впереди меня, я встретил зверя на лету пулею: она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мне и

снова, развлекаясь болью, бросалось в сторону. В это время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволей принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками — волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около... дорога убегала меня, усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы, но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегоднешним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку и скоро послышал крик и выстрелы: это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, слава богу!

— Слава богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удаństwo твоё чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день, он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно. Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, боль предчувствия беды.

— Алла! — произнесла она с горестию, — опять набе-

ги, опять убийство! Когда-то перестанет литься кровь на угорнях?

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах,— сказал хан с усмешкою.

#### ГЛАВА IV

Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собою зияющую бездну, утесы по сторонам, а навстречу вам с крутизны ревуший, прышущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи; и вдруг затем раздается выстрел грома, зыблющий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных и бездне великанов, сливается с шумом ветра, и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает... камни сыплются мимо и звучно падают в воду... Испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника, и всадник творит невольную молитву...

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещет Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин, и самые туманы инде катятся вниз по ущелию, подобны потоку, инде выются улиткой с ключа, будто дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по камням и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый, после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напоя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть в Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плывучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени, но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они ищут единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те собираются в набег; делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, враж-

дующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих, или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не поспеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих, как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек, истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, куда видит в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая испорченная; они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунак, а ночью в проводники хищнику, чтобы ограбить нового друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников, — в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам, но в поле приги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удалыцы отправляются туда виланы, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродятся за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши или под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные

проводят дня по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выйдет в поле без ружья за спиной: он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полуторы тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун.

Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостью. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как замануть неприятеля, но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседним узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место, и вдруг, по условному знаку, во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! гарай (тревога)!» и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не шал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видимым тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Ризумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям мунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, откуда освежались уста-

лые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжело-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи,  
Словно горные орлы...  
Им навстречу, на скалы  
Узденей отряд летучий,  
Выше, выше, круче, круче,  
Скачет, русскими разбит:  
След их кровию кипят!

На хвостах полки погонн;  
Занесен и штык и меч;  
Смертью сеется картечь...  
Нет спасенья в силе, в броне...  
«Беги, беги, кони, кони!»  
Пали вы,— а далека  
Крепость горного леска<sup>1</sup>.

Сердце нашим русским мета...  
На колени пал мулла —  
И молитва как стрела  
До пророка Магомета,  
В море света, в небо света,  
Полетела, понеслась:  
«Иль-алла, не выдай нас».

Нет спасенья ниоткуда!  
Вдруг, по манию небес,  
Зашумел далекий лес:  
Веет, плещет, катит грудой  
Ниже, ближе, чудо, чудо!..  
Мусульмане спасены  
Средь лесистой крутизны!

— Так бывало в старину,— сказал с улыбкою Джембулат,— когда наши старики больше верили молитве, и бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шуши (сабли), и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат,— промолвил он, крутя ус свой,— не скрою от тебя, что дело может быть жар

<sup>1</sup> Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово. (Примеч. автора.)

кое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он, но сколько у него войска, этого никто не знает.

— Чем больше будет русских, тем лучше,— отвечал Аммалат спокойно,— тем менее будет промахов.

— Зато труднее добыча!

— По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы.

— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показывать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые, заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности. Но что такое абреки, Джембулат?

— Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в весельях, не жалеть своей жизни в набеггах, не щадить врагов в битве, не спускать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда<sup>1</sup>.

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий кабардинец поклялся пять лет быть абреком после того, как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь, а все нейдет.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

---

<sup>1</sup> Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, приходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азнатцами. (Примеч. автора.)

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто зменную шкуру, станет смиреннее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Тереком: пора за дело.

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несясь неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых, как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжим мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху; он полон смолой и соломой и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь, и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться

на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано — сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица! — сказал донец. — Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

«Неужто волки? — подумал он. — Бывает, они крепко сверкают глазами».

Но искры посыпались снова, и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его гибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул, и пронзенный казак без стога упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц были наградой отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей; тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки, и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами

бросились они потом на коней с полевой стороны; кони шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был водаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядяющих коней, вился между постами и наконец, избрав самое крутое место берега, прыгнул в Терек со всего скакака. Весь табун за ним следом: только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач, и стон, и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся, как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, залегали за дубы, за кустарники и скоро завязали перепалку с высланными против них удалцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам, но ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки нанесли их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие карен, штыки склонились, и беглый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить

на наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводущие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен. Пушки развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам, и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненные цеплялись за хвосты и узды чужих коней, погружали их и не спасали себя; как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене, дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрѣдкинуты и двадцать раз нападая, утомлены, но не побеждены, с сотнею удалцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали коней<sup>1</sup> и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавают за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские. Гибель была неизбежна.

— Ну, Джембулат! — сказал бек кабардинцу, — судьба наша кончилась! Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

— Не подумаешь ли ты, — возразил Джембулат, — что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак. Братцы, товарищи! — крик-

---

<sup>1</sup> Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают чрез одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора. (Примеч. автора.)

нул он к остальным,— нам изменно счастье, но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам! Не тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

— Умрем! Умрем! только славно умрем! — закричали все, вонзая кинжалы в ребро коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, сбиваясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

## СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

### Хор

Слава нам, смерть врагу,  
Алла-га, алла-гу!!

### Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,  
Правьте поминки по нас:  
Вслед за последнюю меткою пуль  
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою,  
Нас убаюкает гром;  
Очи не милая черной косою —  
Ворон закроет крылом!  
Дети, забудьте отцовский обычай:  
Он не потешит вас русской добычей!

### Второй полухор

Девы, не плачьте; ваши сестрицы,  
Гурни, светлой толпой,  
К смелым склоняя солнца-зеницы,  
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей:  
Вольная смерть нам бесславня краше!

### Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!  
Светел, но где он — зарницы луч?  
Мать моя, звезда душ,  
Спать ложись, огонь туши!  
Не томи напрасно ока,

У порога не сиди,  
Издадека, издадека  
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная,  
По скалам и по долам:  
Спит он... ложе — пыль степная,  
Меч и сердце пополам!

#### Второй полухор

Не плачь, о мать! твоей любовью  
Мне билось сердце высоко,  
И в нем кипело львиной кровью  
Родимой груди молоко;  
И никогда нагорной воле  
Удалый сын не изменял:  
Он в грозной битве, в чуждом поле,  
Постигнут Азранлом, пал.  
Но кровь моя на радость краю  
Нетленным цветом будет цвести,  
Я детям славу завещаю,  
А братьям — гибельную месть!

#### Хор

О братья! творите молитву;  
С кинжалом ринемся в битву!  
Ломай их о русскую грудь...  
По трупам бесстрашного пути!  
Слава нам, смерть врагу,  
Алла-га, алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам сих песен, но наконец громкое *ура* раздалось с обеих сторон<sup>1</sup>.

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбивая их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу. Она была беспощадна; все пало под штыками русских.

— Вперед за мной, Аммалат-бек! — вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед! Для нас смерть — свобода.

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его наземь, усеянную убитыми, залитую кровью.

---

<sup>1</sup> Ур, ура — значит *бей* по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего *hugga* у англичан. (Примеч. автора.)

## ГЛАВА V

### ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

*Из Дербента в Смоленск*

1819 года в октябре.

Два месяца — легко сказать! — два века ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь очами письмо... В то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это *было*, а я хочу знать, что *есть*. Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будет различать нас! когда выражения любви нашей не будут простывать на почте нль, наоборот, когда не станут пылать письма любовью, может быть теперь уже остывшею! Прости, прости меня, бесценная! Все такие черные думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему верит, в удалении — во всем сомневается.

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом... О, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился! Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя; зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие — след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удрушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограничено, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня — твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябание последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Ших-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. На завтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица, по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостью выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, — блещет меч  
Карателя Кубани;  
Его дыханье — град картечь,  
Глагол — перуны брани!  
Окест угрюмого чела  
Толпятся роки боя...  
Взглянул — и гибель протекла  
За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев, то смущающего их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца: его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела); то дружески открыто приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутя, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуж-

дения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!

Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета; всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно*, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец: он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце; под скалою дом шамхала, потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленяло пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом<sup>1</sup> голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный кинжал — и рогатая голова покатилась к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить — все напрасно.

---

<sup>1</sup> Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли. (Примеч. автора.)

В свите Алексея Петровича было много силачей и удалцов из русских и азиатцев,—но для этого нужна была не одна сила.

— Дети вы дети,—сказал главнокомандующий и встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. Приташили огромную тяжелую саблю, и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

— Коцарев славно пощипал горцев,—сказал он нам.—Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню, но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживли. Пятерых привели перед главнокомандующего.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи сверкнули.

— Мерзавцы!—сказал он узденям.—Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? Лугов ли? Стад ли? Защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их!—сказал он грозно.—Повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жеребий: четвертому воля,—велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и *замирить* по-своему.

Уздений вывели.

Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главногокомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами, но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

— Аммалат-бек,— сказал наконец ему Алексей Петрович,— помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

— Мне нельзя было забыть этого,— отвечал бек,— если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником.

— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий. — Отец твой, ты сам враждовал против русских. Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость? Тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

— Знаю,— отвечал Аммалат-бек хладнокровно. — Меня расстреляют.

— Нет, пуля — слишком благородная смерть для разбойника,— произнес разгневанный генерал. — Арбу вверх оглоблями и узду на шею — вот тебе достойная награда.

— Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро,— возразил Аммалат,— я прошу одной милости, не терзать меня судом, это тройная смерть.

— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! Но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд,— сказал главнокомандующий, обращаясь

к начальнику своего штаба.— Дело явное, улики налицо, и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду!

Он махнул рукой, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово,—авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало не дописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля. Здесь он был всегда ко мне очень хорош, и потому посещение мое не могло для него быть новостью. Значительно улыбнувшись, он сказал:

— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно тыходишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках,—это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

— Вы угадали,—отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

— Садись же и потолкуем о том,—произнес он; потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне:— Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их—вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела; но я—я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усовестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить

словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости, всякий с чувствительною ужимкою говорит: «Право, я бы сердечно хотел простить, но рассудите сами: могу ли я? Что ж после этого законы? Где общая польза?» Я никогда не говорю этого; на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут; в волнении он прошелся несколько раз по палатке, потом сел и продолжал:

— Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление: мне стало жаль его.

— Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навьючено перед умом. Конечно, я *могу* простить Аммалата, но я *должен* казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор; надобно пресечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасет преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал...

— Шамхал — азиатец, — прервал меня Алексей Петрович, — он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников...

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрощать убедительнее.

— Заставьте меня служить за троих, — говорил я, — не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушные никогда не падают напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных,— сказал он,— впрочем, так и быть: я его прощаю,— и не вполнину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе,— не доверяйся же ему, не отогревай змен на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, в середине горел фонарь. Вхожу, пленник лежит на бурке; на лице сверкают слезы. Он не слышал моего прихода: так глубоко погружен был в думу,— кому весело расстаться с жизнью! Я был счастлив, что мог обрадовать его в такую горькую минуту.

— Аммалат! — сказал я.— Аллах велик, а сардар милостив,— он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его, и вдруг затем тень сомнения покрыла его лицо.

— Жизнь! — произнес он.— Я понимаю это великодушное. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погresti его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою, отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер,— и это называете вы жизнью, и этою-то бесконечною пыткой хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь.

— Ты ошибаешься, Аммалат — возразил я,— ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде, господин своим поместьям и поступкам,— вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоём походе. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он.— Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой

поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! — промолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, — пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть! <sup>1</sup> Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это! Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится, а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досаую. Полк мой расстроен как только можно вообразить; к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. Остаюсь; но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

*ОТРЫВОК ИЗ ДРУГОГО ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО  
К ЕГО НЕВЕСТЕ, ПОЛГОДА СПУСТЯ*

*Из Дербента в Смоленск*

...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусее. Татарские беки первую степенью образования считают обыкновенно беззазорное употребление вина и свинины: я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, прихочиваю к письму и с радостью вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше ска-

---

<sup>1</sup> Для черноты и предохранения от ржавчины клинки копят и мажут нефтью. (Примеч. автора.)

зять, разнузданных страстей азнатца, у которого с самого младенчества одна воля была границей желаний. Наши страсти — домашние животные или хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на Востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, — говорит он, — прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я был виноват и что ты прости меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа назубок подарила ему все, чтобы быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его — чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начиная верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития; но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только недалеко. Но полно, ум ли его виноват в том? Не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, — спрошу ответа, а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово *Селтанет*, *Селтанет* (власть, власть)! вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках

божественной болезни — любви! Он влюблен; он страстно влюблен: но в кого? О, я узнаю это!.. Дружба любопытна, как женщина.

## ГЛАВА VI

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСОК АММАЛАТ-БЕКА

(перевод с татарского)

...Спал ли я до сих пор или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию*!.. Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана... Каждый шаг открывает мне зренье шире и далее... Грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз — облака шумят под ногами!.. досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо, с неба — разглядывать землю!

Дивлюсь, как самые простые вопросы: *отчего и как* не западали мне в голову прежде? Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в душе моей, будто в море; только я знал о том столько же, как море или зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? Понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи, там вечные снега, а там океаны песков? Для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек! Мне и на мысль не впадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв... Но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и высота еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка.. Теперь, познав преимущества ума над телом, для

меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою. Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удачестве, которого может лишит первая рана, первый неловкий скачок? У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам алла. Я считал себя важным человеком; я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирает свет мой, но я спокойно спал в этой ночи. Я полагал: быть известным в Дагестане — вершина знаменитости, — и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься. И где они? Полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине?

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей, повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы!.. Отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя аллы в Куране... «Вот летопись моего сердца... — скажу я ей. — Погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во

сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы. О милая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое подле тебя, очаровательница?.. Нет, нет... все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя! Растопленное солнце потечет во мне, я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви, о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотой души и тела, ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных, но зато как вяла, как холодна любовь их! Это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодovито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод — и спрашиваю: что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, — и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не отвечаю ему как должно, как он заслуживает; но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

...Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук... Я утомлен на первых ступенях, теряю терпение на первом затруднении, путаю нити вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, — и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживаю полковника принял я за собственные успехи... Но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастье и несчастье моей жизни: любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну только Селтанету.

ту. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!

...Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди... Если б я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску: я вместе такою и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана... и эту ножку — печать любви, и эту грудь — гранату блаженства!.. Память о твоём голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука... И поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!.. Он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое... Я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания; рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди... прилети... чтобы я умер от наслаждения; как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Амалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков.

На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый, желая попытать счастья, погарцовать на поле, похвалиться удальством.

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп, но сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами, — все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам.

Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими бе-

ками и с Аммалатом, ехал, или, лучше сказать, плыл, верхом по грязи.

Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-Капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены, потом обширные кладбища и только к морю редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кефары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный иием, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами<sup>1</sup>.

Облава была закинута влево, и скоро слышали крик гаяльщиков, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянию и с тем вместе показывают свое удалство, ибо преследование вепрей сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь.

Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чашу и остановился на полянке, на которой сходилась много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, нажидал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдаль кабан за деревьями; наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь,

---

<sup>1</sup> Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар — аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же. (Примеч. автора.)

который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился; пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровью, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, нажидая его ближе; в другой раз брякнул курок... осечка! Отсыревший порох не вспыхнул. Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева; только один сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, расвирипелый кабан ударил в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей... Напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользнули, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника... С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, и голос его умирал в пустой окружности напрасно...

Нет, не напрасно!

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как иступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

— Я не принимаю незаслуженной благодарности! — отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. — Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаша помешала мне насесть на него по следу; я было совсем потерял его, и вот бог привел меня достигь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву — вас, моего благодетеля.

— Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не поми-

най про старое. Сегодня же отомстим мы зубамн этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикусать запрещенного мяса, Аммалат?

— И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.

Облава обратилась в другую сторону: вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»

— В нем разразилась месть моя, — возразил тот, — а месть азиатца тяжка!

— Ты видел, ты испытал, Аммалат, — сказал ласково полковник, — как мстят за зло русские, то есть христиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны... Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо: к нему навстречу несясь эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями *алейкюм селам* оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

— Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею?! — вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. — По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это<sup>1</sup>. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?

— Дай образумиться, — возразил Сафир-Али. — Дай хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе,преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дер-

---

<sup>1</sup> У татар неперменное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду. (Примеч. автора.)

бентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан...

— Черт их побери одним разом!.. Что же Селтанета?

— Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наеднне я открыл ей причину моего приезда. Я на-сказал ей верблужий выюк от тебя приветствий, уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга... а она так и заливается слезами!

— Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?

— Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зимний снег выпал на ее сердце и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его.. Впрочем, если б мне дожидаться конца ее наказов, а тебе — моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем она чуть не выгнала меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

— Бесценная девушка!.. Не знаешь ты, да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя.

— То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»

— Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

— Эй, жнть захочется, когда на нее взглянешь! При-смирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет — так кровь заиграет.

— Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

— Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.

— Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь — не значит еще: навек невозможно. Знаешь жен-

ское сердце, Сафир-Али: конец надежде — для них конец любви!

— Сеешь слова на ветер, джайым (душа моя). Надежда у влюбленных — бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь — так и чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

— Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует истление и не может избежать его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко!

— Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского! Волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

— Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба — прекрасное дело, но она не заменит любви.

— По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

— Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви своей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностью вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которою вырос, и, верно бы, женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами. Невеста его заплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину и находит свою милую женою другого. Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища... увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею... или хоть в мести насладиться за отнятое счастье! Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!

— Редкий человек, если это не сказка,— молвил Сафир-Али с чувством, бросив поводья,— твердый друг!

— Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастью ли, к несчастью ли его, умер его приятель-соперник. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своею добротою, понять страсть мою!.. Притом, между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

— Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности.

— Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

— Не помногу же достанется на брата,— сказал Сафир-Али.

— Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир! — возразил, улыбаясь, Аммалат.

— Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала и потом ничего не видеть, кроме покрывала и бровей. Видно, тебе, как урмийскому соловью<sup>1</sup>, надобна для песен клетка.

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

## ГЛАВА VII

### ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

Дербент, апрель.

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает

---

<sup>1</sup> Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью — винограда. (Примеч. автора.)

мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнью и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задержалась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, а звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностью, то поражая новостью. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опускается волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями,— и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождя на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви; она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. Не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостоять призывному мерцанию месячного луча... потрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом, в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю

песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обречены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Азербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною что хочешь, но позволь мне делать с нижними что я хочу, — вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарив огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властью, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтоб словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то, верно, по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения: трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... *Et c'est tout dire*<sup>1</sup>. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не

---

<sup>1</sup> И этим все сказано (фр.).

существуют для азиатца. У них сын — раб своего отца, брат — его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрительность в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницей, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца: мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы — суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... Он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Марья, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчера я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендиару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван отрыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря<sup>1</sup>, пересекая весь

---

<sup>1</sup> Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Далюл — узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, на-

Кавказ, имея крайними *железными воротами* Дербент, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущельями до Военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслями, не только исполнением, нынешние женоподобные власти Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий,— свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю останки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра, я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездились в уме, какие святые чувства вздымали геройскую грудь! Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целью. Дербент, Бака, Астрабат — вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным

---

конец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в Абазинскую землю за Железные ворота, следственно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!! (Примеч. автора.)

величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп<sup>1</sup>. Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спай, раздирают камини корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону, сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и камням; драться с шестерыми удалцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев, в чем дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле; он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

— Прошу долой с коней, милые гости,— произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением

---

<sup>1</sup> Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранилась, как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершенствовал виноделие; теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!!! (Примеч. автор.)

будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

— Здорово,— сказал он ему,— здорово, сорвиголова! Не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уже давно черти лапшу сделали.

— Скоро едешь, Аммалат-бек,— отвечал тот.— Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем сердце.

— Ну что, какова ловля, Шемардан? — спросил небрежно Аммалат-бек.

— Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повыть даром по-волчьи, да, спасибо, аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

— Не продавай сокола в небе,— возразил Аммалат,— продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас пронизательные взоры.

— Послушай, Аммалат— сказал он.— Неужели вы думаете убежать от меня? Неужто дерзнете защищаться?

— Будь покоен,— возразил Аммалат.— Что мы за глупцы—идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать; лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полковника и подавно ни роду, ни племени.

— Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднею считаться. Впрочем, я человек совестливый: нет червонца, так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова<sup>1</sup> дали выкупу десять тысяч рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны... Я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед, первиадер (всевышний) прости.

— Ну, то-то же, приятель, корми да пои нас хоро-

---

<sup>1</sup> За Швецова — полковник Швецов был выкуплен офицерами Кавказского корпуса. (Примеч. автора.)

шенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

— Верю, верю! Люблю, что без шума дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье, загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой! Верно, кубачинская насечка на ножнах?

— Нет, кизлярская,— отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала.— Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечу. На этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский.

И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана роторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе поводья оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

— Чудный вы человек, полковник,— возразил он мне.— Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, исторанил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкуп.

— Все это так, Аммалат,— сказал я,— но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойника и начать тем, чем кончили?

— Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями. Притом, я знаю эту сволочь весьма хорошо: они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою?

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съедение зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, он отвечал:

— Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному гакому (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болезнь как рукой снимает. На беду, повстречал меня на дороге Шемардан! Пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело сердце молодецкое... Ох, алла, гиль алла! Вынул он из меня душу.

— Тебя послали за лекарством, говоришь ты? — спросил Аммалат. — Да кто же у вас болен?

— Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее.

При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледиел как смерть; руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробежал он записку... Прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

— Не ест, не спит уже три ночи... бредит! Жизнь ее в опасности, спасите! Боже правды! А я здесь веселюсь, праздничая, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом! О, да падут на голову мою все ее болезни<sup>1</sup>, да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка! Ты вянешь, роза Аварии, и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! — вскричал он наконец, схватив меня за руку. — Исполните мою единственную священную просьбу: позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

— На кого, друг мой?

— На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Авар-

---

<sup>1</sup> Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине. (Примеч. автора.)

ского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть, уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах?

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды,— моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

— Друг Аммалат! — сказал я, — спеши, куда зовет тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливым путем!

— Прощайте, благодетель мой! — произнес он, тронутый. — И, может быть, навск. Я не ворочусь к жизни, если алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к такому Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной, и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть несчастием для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» — спрашиваешь ты. Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, — непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; следственно, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен; обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе, безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно! Но это не наместит мосту к счастью,

и потому думаю, что если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако,— говоришь ты (и мне кажется, я слышу твой серебристый голос, любуюсь твоей ангельскою улыбкою),— однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастье имеет привилёгию быть вечным на свете?» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба — море, надежда — сирена морская; опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению, но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве и мысль о свидании потеряла свою определенность!.. Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч, и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.

## ГЛАВА ЧИИ

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукаров своих; зато к концу другого дня был уже недалеко от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома... В глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там!» — молвил он в самом себе и скрепя сердце удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу, и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, как будто бы удары были обычным дорожным приветствием.

Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников; он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из развёрстого черепа; победитель, хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату.

— Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

— За что встала ссора у тебя с ним? — спросил Аммалат. — За что заключил ты ее такой ужасною местью?

— Этот харамзада, — отвечал всадник, — не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали: не доставайся же никому... И он дерзнул выбрать жену мою. Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены! Я было кинулся на него с кинжалом, да нас разняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться, и вот аллах рассудил нас. Бек, верно, сдет в Хунзах, верно, в гости к хану? — примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

— Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

— Разве в доме хана случилось какое несчастье? — спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

— Не то чтобы несчастье: у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь...

— Умерла? — вскричал Аммалат, бледнея.

— Может быть, и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом... Заезжай, сделай милость...

Но Аммалат уже не слышал ничего более; он стремглав ускорил от удивленного узденя, только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыпавшимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня середи двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при ней на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих.

Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бы-

тие, будто проснулась из томительного забытья горячки; щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем, в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении; безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания иступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной... Она вспрянула... Глаза ее заблистали...

— Ты ли это, ты ли?! — вскричала она, простирая к нему руки. — Аллах бережет!.. Теперь я довольна! Я счастлива, — промолвила она, опускаясь на подушки.

Улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали, и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на большую спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Необходимо было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием, — без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

— Мне так легко, матушка, — сказала она ханше, весело озираясь, — будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни; кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела; теперь, слава аллаху, я только слаба, это пройдет скоро; я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море и сгораю жаждою; вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки; тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже.

И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего, безбрежного моря... Лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, звездочки вспыхнули молнией, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню...

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую.

Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.

— Пускай все радуются, когда я радуюсь,— сказал он и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили, но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много<sup>1)</sup> любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность — очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива, я страдала от тебя и для тебя!»

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову, но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

— Мы очень давно не видались, Селтанета!

— И едва не расстались навечно,— отвечала Селтанета.

— Навечно? — произнес Аммалат полуукорительным голосом. — И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни, жизни, в которой неведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастья, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! Для чего бы мне тогда сражаться с роком?

— Жаль, что я не умерла, коли так,— возразила Селтанета шутя,— ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

— О нет, живи, живи долго, для счастья, для...— любви хотел примолвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередой.

Хан не устал расспрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спорами о платьях и обычаях женщин их и не могла пропустить без воззвания к аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался незапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг он вскакивал, очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.

Однажды, в такую минуту, любовники были глаз на глаз. С участием склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

— Азиз (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной?

— Ах, не клевети на того, кто любит тебя более неба,— отвечал Аммалат,— но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнью, чем с тобою, черноокая!

— Ты думаешь об этом... стало быть, желаешь этого.

— Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностью. Но я мужчина, я друг;

судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро; она влечет меня к Дербенту.

— Долг! Обязанность! Благодарность! — произнесла Селтанета, печально качая головою. — Сколько золотых слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосуществимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастья душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не купленного пшена, у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной; у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?

— Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее — вот моя первая мольба, мое последнее желание; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен... и не от русских, но от хана...

— Ты знаешь отца моего, — грустно сказала Селтанета, — с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к такому Ибрагиму.

— Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах, и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских, и тогда я выслушаю тебя.

— Стало быть, надобно сказать *прости* надежде?

— Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только *прости, Авария!*

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

— Я не понимаю тебя, — произнесла она.

— Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины, и тогда ты поймешь меня. Сел-

танета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне... Если ты любишь меня, бежим отсюда!..

— Бежать, дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.. Это ужасно!.. Это неслыханно.

— Не говори мне этого... Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу;<sup>1</sup> брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана; вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя, и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

— Но ты забыл месть отца моего!

— Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость; сердце его не камень; да если б было и камень, то слезы повинные пробыют его, наши ласки его тронут!.. Счастье приглубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».

— Милый мой! я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Подождем, посмотрим, что аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

— Селтанета! аллах дал мне эту мысль... Вот его воля!.. Умоляю тебя: сжался надо мною... Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро; но уехать без надежды увидеть тебя и с опасением узнать тебя женою другого — это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою, не лишай меня рая, не доводи меня до безумства. Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть: я могу забыть и гостеприимство и родство, разорвав все связи человеческие, попать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью, заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать

---

<sup>1</sup> Пул — вообще деньги. Карапул — наша денежка, или полущка, которая произошла вовсе не от *пол-ущка*, а от татарского *пул*. Да и слово *рубль* происходит, по мнению моему, не от *рубки*, а от арабского слова *руп* (четверть) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка. (Примеч. автора.)

от моих дел... Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения, спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони — ветер, ночь темна; бежим в благодатную Россию, куда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя; жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоём: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на глазах лиственницы, и сказала:

— Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, и очень ведаю, как стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей; знаю, и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою... я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя, — пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба — моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира, солнцу, и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней, и тогда враги прочь с дороги!

Поцелуй запечатлел обеты, и счастливыцы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бек, изготова к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи и, как докучного гостя, провожал он глазами светило

дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату! Еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем.

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету? Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей; долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист,— и все это пробуждало в душе Селтанеты раскаяние, в сердце Аммалата — опасенье. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты, и взор, брошенный украдкой Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата; там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

— Поедем попытать удали новых моих соколов,— сказал хан Аммалату,— вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заповлевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с бекком; влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывал железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами. Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

— Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охрану стада от людей и зверей. Бедна его родина: но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю». И эту-

то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас, и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

— Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка, хвалится тем, что он застольник полковника!

— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнью: союз дружбы связал нас.

— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Курана и долг всякого правоверного.

— Хан! перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир... Я имею свои понятия о долге честного человека.

— В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если б ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура? Хочешь ли остаться с нами навсегда?

— Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, но я дал обет воротиться и сдержу его.

— Это решительно?

— Непременно.

— Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами не к стати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы; твое долгое отсутствие, слухи о твоём превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему; но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять нападешь на прежний путь, и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего: я не хочу иметь зятем слугу русских...

— Ахмет-хан! я однажды...

— Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое иступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери... но

теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно, Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями; но *здесь* увидимся только родными, не иначе. Да обратит алла твое сердце и приведет к нам нераздельным другом... До тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

## ГЛАВА IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склонив голову на валец, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

— Прекрасная вещь — вино! — приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. — Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек. Сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..

— А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза.

— Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга, в ухе не повиснет. Небось когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское; вот мы и квиты!.. Ну-тка, за здравие русских!

— Что полюбились тебе эти русские?

— Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

— Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же пади на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили они порядочного! Верховский открыл мне глаза на недостатки моих однопольцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше простительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

— Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

— Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

— Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.. Есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! еще вина! Ну-тка, за здоровье Верховского!

— Избавь! Я не стану теперь пить ни за самого Магомета!

— Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах<sup>1</sup> дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи<sup>2</sup> не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

---

<sup>1</sup> Тарковцы секты сунни. Яхунт — старший мулла. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Имам — святой; ших — пророк. (Примеч. автора.)

— Не выпью,— говорю я тебе.

— Послушай, Аммалат! Я готов за тебя напоить до-  
пьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня вы-  
пить вина!

— То есть в этот раз не стану пить; а не стану по-  
тому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без  
вина бродит во мне, как молодая буза.

— Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не  
впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты  
сердит на полковника?

— Очень сердит!

— Можно ли узнать за что?

— За многое. Давно уже стал подливать он каплю  
по капле яду в мед дружбы своей... Теперь эти капли  
переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких  
полутеплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на  
поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого  
труда, никакого риска.

— Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в  
Аварию?

— Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы по-  
нял, какво было мне услышать такой отказ. Как дав-  
но манил он меня этим и вдруг оторнул самые нежные  
просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые  
лестные ожидания... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда  
присылал сказать, что желает видеть меня, и я не могу  
спешить к нему, лететь к Селтанете!

— Поставь-ка, брат, себя на его месте и потом ска-  
жи, не так ли же бы поступил ты сам?

— Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала:  
«Аммалат! не жди от меня никакой помощи!» Я и те-  
перь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы  
он не мешал мне, так нет: он, заграждая от меня солн-  
це всех радостей, уверяет, что делает это из участия,  
что это впереди принесет мне счастье!.. Не значит ли  
это отравлять в сонном питье?

— Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сон-  
ное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-  
нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об од-  
ной любви своей, Верховскому же надобно хранить без  
пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недо-  
брохотами. Поверь, что так или иначе, только он выле-  
чит тебя.

— Кто просит его лечить меня? Эта божественная

болезнь, любовь,— моя единственная отрада! И лишить меня ее — все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану...

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклоном головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

— Здесь мы одни,— сказал Аммалат-бек татарину.— Кто ты и что тебе надобно?

— Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня... *Орел любит горы!*

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

— Как не любить гор! — отвечал он.— В горах много ягнят для орла, много серебра для человека.

— *И булата для витязей (игидов).*

Аммалат схватил посланца за руку.

— Здоров ли Султан-Ахмет-хан? — спросил он то-ропливо.— Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

— Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

— Куда? Зачем?

— Ты знаешь, кто прислал меня,— этого довольно; если не веришь ему, не верь и мне,— в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

— Сафир-Али! — вскричал он громко.

Сафир-Али встрепнулся и выбежал из палатки.

— Вели подвести себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью: не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Ска-

зали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито побрякивал подле Аммалата, но, видя, что никто не начинает разговора, решился сам завести его.

— Прах на голову этого проводника,— сказал он.— Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас. Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа... Не верю я этим косым.

— Я и прямоглазым мало верю,— отвечал Аммалат.— Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

— А чуть задумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню.— Эй, приятель,— закричал Сафир-Али проводнику,— ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица.

Проводник остановился.

— Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты,— возразил он.— Оставайся здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.

— Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? — шепнул Сафир-Али Аммалату.

— То есть ты боишься остаться здесь *без меня*? — возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод.— Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?

— Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих,— сказал Сафир-Али.

Они расстались.

Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между камнями, начал спускаться книзу. С большою опасностью лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника, и наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо

ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселин. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

— Я рад тебя видеть,— сказал он, сжимая руку гостя,— рад и не скрываю чувства, которого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посуди о важном деле.

— Для меня, Султан-Ахмет-хан?

— Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль; было время, когда и тебя считал я своим другом...

— Только считал?..

— Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

— Хан, ты не знаешь его.

— Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому, и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате; долго не мог он собраться с духом. Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:

— Кто этот смельчак жених?

— Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету.

— После меня? после меня? — вскричал вспылчивый бек, закипая гневом. — Разве меня хоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

— Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать? Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться.

— О, только пожелай этого, только скажи слово, и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе своей головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. Для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастья твоей дочери и

моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

— Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

— Кому нужна моя бедная жизнь? Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

— Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства.

— Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.

— Не бойся, но и не презирай ее. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолу, минутою опоздал приехать и упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника. Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти.

— Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?

— Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков, и радовался своему счастью, и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Святая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткой выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы известить тебя... Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоём доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоём: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отправлять тебя за

твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы.

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне, и наконец дикий зверь, которого укротил Верховский, которого держал в усыплении Аммалат, сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

— Месть, мечь! — восклицал он. — Неумолимая мечь в горе лицемерам!

— Вот первое достойное тебя слово, — сказал хан, скрывая радость удачи. — Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пята русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосыгаем его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертию.

— Так, смерть и гибель шамхалу, хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

— Шамхал? Сын его, семья его? Стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя, сверзить своего главного врага: ты должен убить Верховского.

— Верховского! — произнес Аммалат, отступая. — Да!.. Он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

— И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же, ты сам избавил его от кабаньих клыков, достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается отплатить за второй — за участь, которую он готовит тебе так коварно...

— Чувствую... это должно... Но что скажут добрые люди? Что будет вопиять совесть моя?

— Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком — совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, не решишься даже жениться на Сел-

танете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие — смерть Верховского. Его голова будет — калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна месть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев, и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат — шамхал дагестанский обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы, вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу и счастье. Думай, решайся; но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня и, не отвечая ни слова на тысячи вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

## ГЛАВА X

— Замолчишь ли ты, змееныш? — говорила татарка старуха внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. — Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах, без окон, стояли сундуки, обитые жостью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих про-

сверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красоты. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду, обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

— Кесь (молчи)! — вскричала наконец она еще сердитее, — кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?

Ночь была ненастная, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался. В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась, в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака, подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос прорёвел за нею:

— Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, на конец концов)!

Старуха побледнела.

— Аллах бисмаллах!.. — произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. — Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, хāрамзада (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине: ей давно пора в ад показать дорогу! Если чоуш (десятник), что, правду сказать, немножко похуже шайтана, так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалатбеке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощение приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата?

— Да отворишь ли ты, чертово веретено? — с нетерпением вскричал голос. — Или я из этой двери не оставлю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

— Милости просим, милости просим! — сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая накладку.

Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности.

Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усастая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красы никогда не был топлён.

— Ну, Фатьма, спесива стала,— сказал незнакомец,— не узнаешь ныне старых знакомцев...

Фатьма взглядела в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кыфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

— Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! — произнесла она, почтительно сложив руки на груди.— Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе.

— Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

— Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы до сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?

— Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.

— Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

— Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

— Десять баранов и платье, шелковое платье! О, милостивый ага! О, добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого... Все готова сделать, хан, хоть ухо режь.

— Резать незачем, надобно только востро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с полковником, приедет и шамхал тарковский. Полковник

этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

— Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах, ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и пуще всего упирайся на то, что полковник, едуци в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

— Ну, помни же все хорошенько, Фатьма,— сказал он, надевая бурку.— Не забудь и того, с кем имеешь дело.

— Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть...

— Не кормя шайтанов своими клятвами, а послужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба<sup>1</sup>.

— Будь покоен, хан: им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык). (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение. (Примеч. автора.)

— Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы; постарайся!

— Башуста, гёз-уста! <sup>1</sup> — вскричала старуха, с жадностью схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

— Гадина,— проворчал он,— за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастье воспитанника.

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ.

Н

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО  
К ЕГО НЕВЕСТЕ

*Лагерь близ селения Кыфир-Кумык*

*Август*

...Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого иступления. Я горел, как кадило; зажженное лучом солнца, он пышет, как запаленный молнией корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете, и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь, а после того целый день не выманишь от него слова.

<sup>1</sup> Охотно, позвольте! Слово в слово значит: на мою голову, на мои очи! (Примеч. автора.)

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах вздохнуть на свою красавицу, и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где он будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату... О, как счастлив буду я его счастьем! Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнью. Я заставлю его стать перед тобой на колени и сказать: *боготвори ее!* Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента — и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, *наше* благополучие! Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, уборах; ты будешь в моем любимом зеленом цвете... не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари, и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения велись цветочною вязью... или нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату... Он еще спал, лицо его было бледно и сердито. Пускай сердится на меня; я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение...

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго,

желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшили все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобрели чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда, этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негой, на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Всклаив на высокую гору влево от Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагледелся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим! Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, пило их млеком облаков, заботливо повивая туманную пелену, освежая ветром тиховейным! О, как бы летом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном теменн которых время — след вечности — не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты... У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра; у него все это слилось в одно вечное *ныне!*.. Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку?

Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благодати жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать ее... Тайный страх смерти тает как снег перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... Чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния, и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... веч..?

О, бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой — и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностью сказать: *до свиданья*.

## ГЛАВА XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата.

По наущению хана кормилица его Фатъма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя и погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников, но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство... Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга, и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что должен был скрывать

внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелии, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние...

### Полночь

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба и братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности! И между ними только один шаг, одно мгновение!..

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд!.. Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкрадываешься, как вор, клеветешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя»,— и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! И ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите... но я приду до тебя по кровавому ковру, я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш; зови коршунов и воронов... Всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (калым)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Подушка сия, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены. (Примеч. автора.)

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютостию. Для тебя?.. За тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютостию? С одной ли лютостию? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох — подло, низко; но если я не могу иначе сделать это?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно.

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный витой ствол... что за чудесная насечка! Она досталась мне от отца, отцу — от прадеда. Мне рассказывали про множество знаменитых из нее выстрелов, и ни один, ни один не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть; а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя и написать она трепещет. Один заряд, один удар — и все кончено!

Заряд?.. Как он легок... Но как тяжело, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, предающая героя во власть последнего труса, поражающего издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совою себе гнездо на чужбине, как для ласточки, весна будет моим отечеством, я сброшу с себя все печали, как старые перья...

...Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, а я пронжу сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев мой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!!

Что же медлит заря! Пускай выходит она... Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания... измена зовет измену... Я решил... Скорей, скорей!

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяния, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника; но, увидя часовых у входа, раздумал: врожденное в азиатце чувство самосохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства, но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он... и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

— Вставай, соня! — вскричал он ему. — Уже заря.

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

— Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

— Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

— Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов<sup>1</sup> с дербентского кладбища, а я хочу спать.

— Но ты любишь пить, гяур. и ты должен пить со мною.

— Это иное дело... Наливай полнее... *Алла верды!*<sup>2</sup> Я всегда готов пить и любить.

— И врага убить!.. Ну, еще... за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

— Так и быть!.. Катай за здоровье черта! Бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить.

— Правда, правда, люди не нуждаются в нем для злобы... С Верховским и со мной он бросил бы карты... Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..

— Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если

---

<sup>1</sup> Мусульмане верят, что в часовые, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Приглашая пить, говорят: «бог дал», то есть на здоровье. (Примеч. автора.)

даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха... Впрочем, мой бы совет...

— Никаких советов, Сафир-Али... никаких возражений!.. Теперь уже не время.

— И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать...

— Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну... Мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремений? Не отсырел ли от крови порох на полке?

— Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее...

— А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю... это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови... говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постель; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невинные слова.

Сафир-Али заботливо, раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

## ГЛАВА XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе он со встревоженным видом сказал:

— Полковник! я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицей в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а

стал присматривать за всеми его шагами. Вчерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издалека приехавшим всадником; на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

— И только, г-н капитан? — спросил Верховский.

— Более ничего не имею я сказать, но очень многое думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверялся, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат небезопасен, отдыхая на руке брата.

— Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседям Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан; я очень верю усердию вестового, но мало — его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение; а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца, и не смог бы двух часов потанить злодейского умысла.

— Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиат, а это слово — аттестат. Здесь не как у нас, здесь слово скрывает мысль, а лицо — душу. На много взглянешь, ну, кажется, сама невинность, а попытайте иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютости.

— Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасом Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший; притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие, но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем.

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь

вился по зеленым валам предгорий кавказских, где инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона, и, наконец, с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи, люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окутывались в туманы другого ущелья.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабанов заглушил в нем голос совести. Полковник подзвал его к себе и очень ласково сказал:

— Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно, подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

— Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог, чтобы такая ночь была последнею... Мне снились страшные сны.

— Ага, дружок! Вот каково преступать завет Магомета: правоверная совесть тебя мучила, как стень!

— Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

— Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчера считал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.

— Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями.

— Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть, где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем

разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя.

«Лицемер! — говорил он про себя, — час твой близок!»

И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекепта с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

— Зеркало вечности... — произнес он, впадая в мечтания. — Отчего не радуется сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнью, но это жизнь не здешнего мира! Ты кажешься мне сегодня печальною степью: ни лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человека... Все пусто!! Да, Амалат! — примолвил он, — мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море, ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете; мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что приказывал делать... но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно — отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой... И что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижинки на златном берегу Днепра... когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо! Сердце поет по этом часу! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана... так бы летом летел к невесте. И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные поводья, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Амалатом они далеко опередили отряд... Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим, и колебался... «Нет,— думал он сам с собою,— до такой степени невозможно притворяться!..»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

— Приготовься... ты едешь со мною!

Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими; мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

— С вами? — возразил он с злобною усмешкою. — С вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильнее разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету...» Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

— Стреляй в цель, Аммалат-бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок!.. Выстрел грянул... и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ошетилив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора, потухающих очей, этой холодеющей крови... Трудно было узнать, невоз-

можно передать того, что крутилось вихрем в груди. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника... Приложил ухо к устам его: не дышит! ощупал сердце: не бьется!

— Он мертв! — произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

— Мертв? Совсем мертв? Тем лучше: мое счастье свершено! — произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

— Для тебя счастье! Для тебя, братоубийцы... Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо аллы.

— Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне! — грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. — Следуй за мною.

— Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень; отныне я не товарищ твой!

Произвешанный до глубины души неожиданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелье и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и иельстивые слезы текли у них градом по храброму, любимому начальнику.

### ГЛАВА XIII

Трое суток скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство — доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка, и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми глазами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегаешь поприще злодей-

ства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком через горы и доли.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, служащее цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы; горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями, невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается. Море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное *слушай!* часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и наконец все стихло, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи,— и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробоконный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

— Чувства человеческие! — произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела,— зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ли бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь? Ему это не потеря, а мне — сокровище... Прах бесчувствен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще не окрепший кирпичный свод и наконец сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный кровосиний блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, за-

чем пришел туда, голова его кружилась от запаха тления, сердце в нем обратилось при виде кровоглавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, сбились, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз неумеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь — словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытии стал он рубить Верховского по шее... На пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя; но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца: ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его... С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала — голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, узденя и князьки съезжались в Хуизах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободряла горцев. Весело сходились они отовсюду, везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто

в удушливом сне. Он не смел сомневаться в том и не мог верить...

На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха. Трепеща от нетерпения, прыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою... но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-Хан-Джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, и горько плакал.

— Что это значит? — с беспокойством спросил его Аммалат. — Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с изумлением переступил за решетчатый порог.

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнью. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем совершалось последнее борение жизни с разрушением... Пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа; старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько жеищин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

— Здравствуй, хан! Я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу; вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть

на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

— Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою! — произнес он едва внятно. — Мне надо помириться с врагами, а не... Ах, горю! Дайте воды, воды... Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклиная тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

— Посол ада! — вскричала она, сверкая взором. — Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома; но для тебя, объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постель... И ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? Твоего благодетеля, защитника и друга!

— На то была воля хана, — угрюмо возразил Аммалат.

— Не клевети на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! — воскликнула ханша. — Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив месть от бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать, обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеинными своими взорами. Ступай скитаться в ущелья гор, учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай и ведай, что дверь моя не отворяется для братоубийцы.

Аммалат стоял, как опаленный молнией.

Все, что роптала невнятию его совесть, высказано было ему вдруг, и так неожиданно, так жестоко. Он не знал, куда девать очи свои. Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши... Лишь плачущие очи

Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

— Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю... Судьба хочет этого — да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь?

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою; но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

— Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

— Так-то принимают меня здесь,— молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщины.— Так-то исполняют здесь обеты. Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султан-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство.

Он вышел гордо.

Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу, но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке, между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.

— И ты, и ты, Селтанета! — более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди; совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минув-

шее его ужасало, будущее приводило в трепет... Куда приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастье отныне будет его забота, но о скудной жизни, о скитальческом хлебе... Аммалат хотел плакать; глаза его горели... И, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить нестерпимую жажду... Он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто, наверно, не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

#### ГЛАВА XIV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот пламенный мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно беспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было стронть обратные реданты, а эта двой-

ная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном сухоходе с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и кругом обвала осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой откуда. И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полуденной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батареями, перепорхнув через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удалца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенною нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти совершила свое дело-разрушения: опрокинутая стена

легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых дерзких горцев. Громовое *алла, гиль, алла!* понеслось навстречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перебивками *гяур гяурлар* обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались поползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, локаясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншею в полдень, вероятно, для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время как они хотели выпустить из ворот не удавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводках, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачей. — Я готов зарядить пушку своей головою: так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному: картечь — *авось*; ядро сыщет виноватого.

Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие, и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и командовал роковое *пли!*

На несколько мгновений дым одел батарею мраком... Его разнесло... Испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стремени.

— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и мо-

лодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом прыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в парах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеинный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины. ...Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова...

— Кровь...— сказал он, разглядывая свою руку,— все крови! Зачем на меня надели *его* кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она... Бывало, она жгла меня... да и это не легче! На свете было так душно... в могиле так холодно!.. Страшно быть мертвецом!.. Глупец я! Искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что? Зачем я спрятал в могилу другого? *шепчешь ты...* Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытие, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, sprыснул ему лицо холодной водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа... Волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дро-

жью, руки искали что-то оттолкнуть от себя... Неописанный ужас изобразился на его лице...

— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. — Кто ты, пришелец из гроба?

— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист.

Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки!.. Еще несколько трепетаний, несколько хрипений, и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

— Большой злодей! — примолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет.

Говоря так, он с любопытством обнажил книжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:

«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою подобного изуверства.

Глаза доброго юноши наполнились слезами...

— Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик. — Оно: А м м а л а т - б е к !





## МОРЕХОД НИКИТИН

*Быль*

A sail, a sail — a promised price to hope!  
Her nation, flag? What speaks the telescope?  
She walks the waters like a thing of life  
And seems to dare the elements to strife.  
Who would not brave the battle fire, the wreck,  
To move the monarch of her peopled deck?

*Byron*

В 1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же как в настоящем 1834 году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина вылиwała огромный столб вод своих прямо в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длиннику, на шесть ширины, с двумя мачтами-однодревками, полусшитое кориями,

<sup>1</sup> Корабль, корабль — надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? Что говорит зрительная труба? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихин. Кто побьется огня, воды, чтоб только пройтись властелином по этому многолюдному деку! *Байрон. (Пер. автора.)*

полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где, на кучах кладки, только русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутиться в три погибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоизволите, в середину судна белый свет и бесцветная вода сверху и снизу, справа и слева могли забегать и прожигать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль,— а слово *корабль*, заметьте, произвожу я от *короба*, а *короб* от *коробить*, а *коробить* от *горбить*, а *горб* от *горы*; надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши-этимологи производят *корабль* от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом гречких орехов; я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских корнях, за исключением биквадратных, которые мне пришлось не по зубам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю,— итак, этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на ладью, или ладью, или лодку древних норманнов, а может статься, и аргонавтов, и доказывал похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-русов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed, силой завербованному моряку, танцующему под свисток tap of war<sup>1</sup> на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому яки<sup>2</sup>, бегущему крепить штынболт по рее американского шунера.

Да-с! Когда вздумашь, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плавал, хаживал на Грумант,— так зовут они Новую Землю,— в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не на-

<sup>1</sup> Военный (англ.).

<sup>2</sup> В насмешку англичане называют североамериканцев уапкее.  
(Примеч. автора.)

пелись и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебридским да оттуда *на перевал* в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии *перетолкнулись* в Камчатку, а оттоль ведь на Ситку-то *рукой подать!*» Вот таких удальцов подавай мне,— и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встrelся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударня Невозможность запропастилась? Выходи,— авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авосьмасти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскачет — дорога, где ни обернется — простор. На кита так на кита, экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? Щелком убьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскатать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет, и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных часах с кукушкой, о влиянии родимых макарон на нравственность и о воспитании виргинского табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста,— и вы убедитесь, что литературные гении-самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы учение ученых, ибо довелись, что науки вздор; что пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.

Но к делу. В 1811 еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбаки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, шук: несмотря на архангелогородскую соль и не-

привычное ей путешествие в розвальнях, слог этой шуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река,— рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они несколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее,— река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый течением и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки...

— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель медик. — Природа помещает всегда противуядие вблизи яда. Как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, — говорит один женатый помещик, — потому что русские ситцы-самоделки точь-в-точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает.

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он, то есть журавль, а не ученый, втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательнее людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож

на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек,— скажет он,— а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненное Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в своих мнениях: рождаются себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы.

Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, спускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и борода чуть-чуть закудрявилась, на щеках румянец, обещавший\*не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девятой сатаны,— одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная борода была в явном разладе с кургузым матросским платьем,— явление, странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Бранда и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли теребить ее, море — вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай — заедать в блок или в захлест каната, но владелец ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она

в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упряма. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплевывал, то есть сращивал, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытностью чертам, по любопытству, с каким поводил он вокруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не просоленный моряк, новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, — работать, когда нужно, спать, когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса, вместе с грузом, и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнью матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смысленных, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отведать своего счастья, поторговать на свое имя, — и вот он купил и снарядил карбас, и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич — это было

его имя — не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю, — да и чего я не знаю? — не хочу таить ее за душой. Он — в добрый час молвить, в худой помолчать — задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанна, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плавателю. Его воображение, изошренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русокозой красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование милых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазнобу к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакинулся; и хоть я не был свидетелем, да уж на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве — потаенные сделки.

Савелий расчувствовался, упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

— Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смысленный и честный парень: спасибо, что пришел ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это *однако* вот тут сидит, с тех еще пор, как учитель хотел было, по его словам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однако ж оставим это *однако*.

Савелий, не смеядохнуть, стоял перед стариком, высасывал глазами догадки из его лица, но слово *однако*, произнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распи-

лило его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

— Од-на-ко (после ко две черточки), — произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в который сваливают весь хлам предрассудков, всю ветошь нравоучений, колодки давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки из-под воображения; или, лучше сказать, он — гостинодворская темная, задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. — Однако, Савелий Никитич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не рогато. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять, и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вокруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно хмель увиваются.

«Пропала моя головушка!» — подумал Савелий.

— Не в укор тебе будь помянуто — покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твоё знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись да себе на прожиток и детям на зубок придобыть?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану да еще тысячи на полторы квитанций купленным товаром, — это для мещанина не безделица.

— Притом, я имею суднишко и кредит, — сказал он, — ношу голову на плечах и благодаря создателя не пусто-голов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с женной легкой руки в спасово заговенье опять пушусь. Что ж, Мироныч, аль другие-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после спа-са. Ты наперед съездишь в Соловки да собьешь копейку на обзаводство; а то с молодой женой ростням конца не будет. Не поперець мне, Савелий, у меня слово с за-клепом.

— Это очень хорошо! — сказал Савелий. «Это очень плохо!» — подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели, между тем как отец и мать ее пили да плакали, карбас Никитина снаряжился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья, чтоб улететь, а наши милые, или, как выражаются архангелогородцы, *бажонные*, обрученники о том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вытаскивать жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самую противною погодой, но ветер пересилил любовь. Савелий выпил последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со свай, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белою рукой; сердце ее вещевало не на доброе; она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым рукавом своей сорочки. С Савелием было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался, до того, что чуть шею не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. И наконец переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три ручья, и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спяхнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться? Впереди его — золото, назад — любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов, — тогда с англичанами была война, — да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переводываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело

пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресной.

И шибко, со всего разбега, ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара, так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом стремглав промкнул сквозь водяную гряду. Чрез пять минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

— Что, Алексей,— спросил новобранца Савелий, усмехаясь,— аль тебе не любы крестины морскою водою?

— Хороши,— отвечал Алексей, вытирая лицо,— только без каши и крестины не в крестины.

— Погоди, брат Алеша, мы тебя в солёной купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, помеси да и в рот понеси, кушай да похваливай. Захочешь ли брагн—брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленные, немереные — пей, сколько в душу войдет.

— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка,— лукаво отвечал Алексей.

— Ты в море гость, мы хозяева,— сказал Савелий,— а гостей потчуют не по летам.

— Однако,— молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон,— не придержи ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит, словно пыль пылит, над тундрю. Подымется, не ровен час, разыграй-царевич — так и нам в открытом море без беды беда придет.

— Волка бояться — в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий. — Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его — так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж поветерь-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.

— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

— Вестимо, так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплеывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы,

покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибережье никло; остров Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался, и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал заплеснул и эту черту, — прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскучие волны напевают ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случалось ли вам испытывать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоконастроенною организациею, и на людях самых необразованных, намозолненных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопаet струна этого сердца. Грудь становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег; над головою вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе — о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже не земная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез из октавы кончины.

И неслышимо природа своею бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвеивает прочь думы-смутницы. Оно яснее, хрусталеет, как будто лучи солнца, отражаясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестью, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе

мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнею. О, если б я мог вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! Я бы...

«Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов», — говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним случилось? Да не убит ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку, зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелия за вихор, мнуня брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навывлет, самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать как вздумается.

«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостию за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили

с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да! верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повода и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, замечает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрыгнул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскочил по простору, целиком, до усталости. Надоели мне битые укаты ваших литературных теорий *chaus-sées*<sup>1</sup>, ваши вековые дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легко я мечтаю — лечу в поднебесье; тяжело ли думами — ныряю в глубь моря...

«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желая знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может статься, двуличный, наследственный; он никак не хочет назваться купцом. Опять, он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они нашлабливают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, ввиваются в души как лесть, и потом — милости прошу! — все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

---

<sup>1</sup> Гладких (фр.).

«Нет, я не купец, не испытатель,— говорит он,— я просто читатель».

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард,— на имя неизвестного!

Вот это по крайней мере ясно и неспоримо. Не надейтесь же получить более четырех, законных, процентов, и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского мещанина Савелья Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателен, по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевести с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «Записок» Трелонея или «Последней нескромности современницы».

«Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно в роде Видока. Даете вы слово? Скажите ж — да! Полноте упрямяничать: снимите долой лень свою!..»

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в «Жильблазе»; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь внакладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел, задумавшись, на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «о чем ты думаешь?» — он мог бы отвечать: «ни о чем!» по всей правде, потому что все мысли, все ощущения в такие часы подобны каплям, вдруг улетученным в безвидные пары; они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы в себе и себя в природе, в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, неохотно расстался с избой своей и косою

своей, и косой своей любушки, с горелкой и с горелками, первый сломал общее молчание.

— Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

— Молчал бы ты, молчал,— возразил с досадою дядя Яков.— Коли в мореходы пошел, так по земле нечего тужить! Земля, эка невидаль! Видишь, что выдумал!

— Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

— Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало: заневолю пришлось рулем море пахать. Небось любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан натянуть, и почаявать порой; а разве тонкое сукно да сахар у нас на березах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красный товар. В лес не съездишь — так и на полатях замерзнешь.

У глупцов голова ни дать ни взять азиатский караван-сарай: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее неизвестно откуда, уходят незнамо куда. Слово *море* пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было, кроме песен; он затянул:

За морем синичка не пышно жила,  
Не пышно жила, пиво варивала,  
Солоду купила, хмелю займы взяла.

В свою очередь слово *пиво* чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

— Знаешь ли что, дядя Яков? В иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне праздник на дворе, так если бы удалось престолу свечку поставить, повиднее бы в море пускаться.

— Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбирает. Старики недаром сложили пословицу: «кто на море не бывал, досыта богу не маливался». Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках — молись — не хочу. Добрые люди с краю земли пешком туда ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать — чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложе-

ны стены монастырские! Вышины — взглянь, так шапка долой; толщины — десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали; человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремя.

— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег как двинский: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей — словно пены, под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает, сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся и усаые киты играют, со стен подачки дожидаются.

— А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом-дородством будет с царский корабль?

— Кит киту розь,—преважно отвечал дядя Яков.— Есть сажень в десять, есть сажень в двадцать; да это на нашем веку так они измельчались. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит, конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как парус; не может кит хлестнуть им об воду. А хлестнул бы он — затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились: пронеси, господи, мимо китарыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю! И отмолили беду неминуемую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда ударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола. «Ну, слава богу! — сказали.— Жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!»

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные али из сырца? — с недоверчивостью спросил Алексей.

— Не сподобил бог видеть самому; только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут, заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

— Если станем! — молвил Алексей.

— А с чего бы нет? Сто двадцать верст, спустя рукава перемашем.

— Не хвались, дядя Яков,—сказал Савелий,—а лучше насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались в крутые валы, и наконец море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел, будто кровью,— верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил как стекло, он вспыхивал, как туча, молнией и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

— Глянь-ко, глянь, дядя Яков! — сказал он.— Валы-то за нами вперевой гонятся. Страсть, да и только.

— Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались? Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

— И впрямь так! — примолвил Савелий.— Чем глязеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вокруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего доброго! — сказал дядя Яков.— Пожалуй, и до нас доберутся, а у нас ворота настежь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими, тучами, и тучи всплескались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака разведали огненную пасть свою, зияющую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали

утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали, вот-вот зароется в воду. И вдруг разразился над ними удар грома; огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось, их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки. Савелий с криком: «Господи, прими мою душу!» — выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

— Теперь молись! — сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решете приплыла,  
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить, Алексей — потому что не успел пожить, дядя Яков — потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него, — без малейшего произвола или сожаления. Счастливцев Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорей всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа, как человек, или, лучше сказать, человек, как природа в свое лето, — вспылчив и бурен на миг. Облака будто растопились молнией в дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул в тьме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали от-

сталых; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братьев и дотратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись, подобно строкам на мрачной, бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и наконец к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя.

Светало.

Аргонавты наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однако ж положение их было вовсе не завидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними раскладывать карту, когда нет умения разбирать ее? Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве у вас нет карт?» с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи». Компас — иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться, да та беда, что в свадебных попытках забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок; зато уж туман клубился — хоть на хлеб намазывай. Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вокруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

— Соловки близко впереди,— говорил Алексей.— Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от беркута.

— Соловки у нас далеко в правой руке,— утверждал дядя Яков.— Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

— А может статься, и правда! — молвил Савелий.— Откудова ж теперь подул ветер?

— Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

— Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

— Буря — особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разреженности воздуха электричеством бурь или по равновесию газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Решили, как изъясняются наши доморощенные мореходы, *побрасовать*, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьюн зашнпел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал; зато грезил наяву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины, и дважды обвиняет чело ее, и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати, и смятая пуховая подушка под розовую щечку невесты; виделись ему друзья и приятели,— пируют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него резвилась уж целая толпа его

нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство — мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обрезом, которое, мечтает он, грядущие веки будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говоря я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жида Шейлока; а крысы съели польского короля Попеля; так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженьях в пятидесяти от них, на ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все вскочили с мест: Иван с знаком удивления, в скобках зебка; Алексей с облизнем от не допитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единоголосным криком: «Что это?!»

— Не гром ли? — сказал, крестясь, Савелий.

— Не звон ли глиняных соловецких колоколов? — молвил лукаво Алексей.

— Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня в ушах будет звенеть! — крикнул дядя Яков. — Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, прованной в тумане ядром, и убедила наших в несомненности слов Якова. Но желание уйти от невидимого капера, пользуясь мглою, оперило их надеждою. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшенный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму; она обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загрела: «Boat-ahoo! Strike your colour (бот! сдайся)».

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них — один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоняя собою ветер.

— Down with your rags (долгой ваши тряпки)! — кликнула снова труба.— Put the helm up, damn (руль на борт, черт возьми)! Strike, or I'll run over and sink you (сдайся, или я перееду и потоплю тебя)! — С этим словом куттер начал приводить к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал, в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи и разоренья, — и когда же? В самом разгаре надежд, в самом цвете счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны ожидают его линьки боцмана, вместо матушки-Руси какой-нибудь блокшиф<sup>1</sup>, исправляющий должность тюрьмы. Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и бац — прямо в борт куттера!

— Fire (пали)! — раздалось на нем.

Пламя каронады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли карбас, и, прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Сопротивление было бы безумством. Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом, *lettre de marque*, и чугунными ядрами, для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже, и много, и красно писали г. г. публицисты противу корсарства, приватирства, пиратства, каперства, или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все совещания ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей — не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге, Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился

---

<sup>1</sup> Старый корабль, без вооружения, в порте стоящий. (Примеч. автора.)

до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни с европейскими правами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унижительно ли отнимать и то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того изменяет краску понятий, что презрительное и незаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискацией одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридцатого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на боках его и его товарищей напечатался не один параграф морского права, покуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плавающую почву *habeas corpus*<sup>1</sup>, ступив на которую, каждый чужеземец пользуется неограниченной свободой носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию; можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убежать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III. *Le cas etait pendable* — это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг под концом рея, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к сча-

---

<sup>1</sup> Акт о неприкосновенности личности (лат.).

стью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня<sup>1</sup>, и потому капитан капера удовольствовался гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней, *standart jurements — God damm yaur eyes!* с придачею не в зачет нескольких *You scoundrels, ruffians!* и *barbed dogs* (мошенники, бездельники, бородатые собаки)! Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом *прямо к лицу* капитанскому; Иван поплевывал вдвое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина — кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами; дома — по душевному уставу. Таков был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, командир куттера, — груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши прежде все дочиста, — это по-судейски, люблю молодца за обычай, — и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его: нахмуренные брови раздались, расступились, и он, ласково ударив Савелия по плечу, бросил ему самое засмоленное из приветствий, расцветающих на палубе:

---

<sup>1</sup> В морских заморских романах, я чай, не раз случалось вам читать: «четвертая склянка», «осьмая склянка». Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозвонное, весьма удобно и здорово; в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется проверка хронометров. Ученое замечание. (Примеч. автора.)

— Heave a head, boy, and never fear (подыми голову и ничего не бойся)!<sup>1</sup>

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободрение английской работы:

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

— Never mind! Забудь это! — возразил с улыбкою Турнип.

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

— Скорее черт забудет взять твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

— Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch boy, did I not?<sup>2</sup>

— Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такою обглоданною жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня.

— Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам; тебя жаль! Если ж утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости; водки жаль! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке; я не могу запретить себе уважать такую отвагу. Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твое горе, вливши в тебя стакана два рому?

Хмель — чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глотком, горе его таяло, как сахар в пунше, и наконец он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» И он ве-

<sup>1</sup> Heave a head — в морском значении почти то же, что у нас: по местам! смирно! — то есть будьте внимательны, слушайте. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Смотри, мальчик, разве нет? (англ.).

село взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого края почать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

— Так бы давно! — сказал тот. — Будьте смирны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидите с своей родиной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..  
— «А Катерина Петровна? — подумал Савелий со вздохом. — Женщины тают скорее снегу».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях — на индейцах, *Indianen*, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказали и в этом за долгую неявку. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, однако ж, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и в куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, то есть море, а не жена, его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попала в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушчонки, — ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего, — испросил у правительства билет на представление войны в миньютуре и пустился пенить море. Ему удалось в Канале захватить какой-то бот с контрабандою да несколько несчастных рыбацких лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного флага, и он, слышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря

и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однако ж все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогамн, *highsways and by-ways*, были замкнуты для нас живою цепью кораблей. Крейсера их шныхарили в Балтийском море и в 1811 году показались в Белом море, с набожным намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведаяв, однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы, однако ж спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума, когда был застигнут бурей, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой восвояси, и уже три дня протекло со дня пленения карбаса. В эти три дни капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был неплохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лени. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелею. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется, с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира; он не мог вообразить идолов иначе, как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век также прихотлив, будто женатый вельможа, *comfort*<sup>1</sup> — надпись его щита. Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резинные корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкуса, выдумал жаровню, которая жарит бифтекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все — от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает

---

<sup>1</sup> Комфорт (англ.).

голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершенствий. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредительнее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резиною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и, по обыкновению своему, в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках, под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочками, и, когда они роияют лучи свои в синие волны, резвухи волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, дробят их искры, хотят затаньть в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугою вкруг месяца, с причудливыми образами облаков есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху — память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчизне грызла его сердце, тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: «живи!» Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он

чахнет, скушает. Не спалось Савелью на новоселье. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому призыванию, рулевой дремал над румпелем и только повременно, по привычке ворчал: «Steady! Steady! (проворнее)». Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и проструилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова; тот проснулся.

— Видишь ты? — сказал он шепотом, показывая на спящих англичан.

— Вижу, — отвечал Яков, оглядевшись.

— Хочешь ли ты свободы? — спросил Савелий.

— Хочешь ли ты смерти? — спросил в свою очередь Яков.

— Смерть — та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку-Русь, я тебя не выдам. Только подумай — где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

— С богом! — произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советовать: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот в полглаза взглянул на него, подернул штуртрос<sup>1</sup> и пробормотал свое: «Steady! Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили

---

<sup>1</sup> Веревка, управляющая рулем. (Примеч. автора.)

одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шуму, схватились бороться и только раненые уступили силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и наконец все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утренний мадероу.

— *Бой!* — закричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. — *Бой!* — повторил он с приложением сотни браней; но *бой* не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу — *бой!* Он давал ему невероятную быстроту движений. «*Бой, принеси бутылку. Бой, клкни боцмана!*» — и пинок в зад, и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце реи.

Видя, что *бой* нейдет за получением своей порции, капитан в гнев вскочил с постели и кинулся к дверям; они были заперты.

— Что это значит?! — вскричал он, потрясая задвижками.

— Это значит, что ты мой пленник, — отвечал Савелий сквозь люк. — Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

— Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробуравлю дно и потоплю тебя! — кричал Турнип.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздух, — возразил Савелий.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком. Двое других стояли на часах при люке мат-

росской каюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменялся или скрепчал; но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая вперед, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравновесил бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

— Дайте нам хлеба! — говорили русские.

— Дайте нам воды! — говорили англичане.

— Не дадим, — отвечали англичане, — куда вы нас не выпустите.

— Не дадим, — отвечали русские, — сдайтесь!

И парламентарии расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка; мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! — говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

— Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду, — говорил Савелий, подавая ему мерку не винной влаги. — Авось бы ты с этого поста поумнел!

— Ты разбойник! — ворчал капитан.

— Я твой ученик, — возражал Савелий, — утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже *status in statu*<sup>1</sup>, но *status su-*

---

<sup>1</sup> Государство в государстве (лат.).

per statum<sup>1</sup>, государство верхом на государстве,— победители без побежденных, и побежденные, не признающие победителей; это были два яруса вавилонского столпа, спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однако ж, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шлюпка, однако ж, встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасения превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос с гору. Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам — время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево; принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое «ура!» с набережной встретило приближающийся куттер; шапки летели в воздух, чоботы в воду; в порыве народной гордости народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

---

<sup>1</sup> Государство над государством (лат.).

— Сдайся! — кричал он. — Мы уж в Архангельске.

— Не сдамся бородачу! — отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

— Ваше превосходительство!.. — отвечал он. — Ваше превосходительство... я русский!

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая:

Rule, Britannia, the waves!  
(Владей, Британия, морями!)

Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка. Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с Георгиевским крестом на груди, — поклонитесь ему: это Савелий Никитин.



## КОММЕНТАРИИ

Роман и Ольга (С. 16.) *Старинная повесть*. Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1823 г., за подписью — А. Бестужев.

С. 16. Эпиграф взят из стихотворения В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

С. 17. «Разговоры о древностях Новагорода...» и «Опыт о древностях русских» — «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода» Е. Болховитниова (1808) и «Опыт повествования о древностях русских» Г. П. Успенского (2-е изд., 1818). ...*сотник конца Славенского*. — Сотник (и с т о р.) — командир небольшого войскового подразделения, сотин. Население в Новгороде делилось на сотин, на «концы», то есть районы, а жители «концов» назывались кончане. ...*потомок самого Вадима*. — Вадим — полулегендарный вождь новгородцев, упоминаемый в Никоновской летописи; выступил против власти князя Рюрика. В глазах декабристов был символом героической борьбы против тираннии.

С. 18. ...*косячатое окошко*. — (косячатое, косясчатое, косящее) — окно с косяками.

С. 19. *Мальвазия* — сорт греческого виноградного вина.

С. 20. Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822). *Семик* — в Древней Руси — народный праздник поклонения душам умерших. ...*кушак шамаханский*. — (шамахинский) — по названию г. Шемаха в Северном Азербайджане, население которого занималось, в частности, производством шелка и различных тканей.

С. 21. *Багряница* — торжественная одежда, плащ из дорогой ткани багряного цвета (в древности — одежда царей, как знак верховной власти).

С. 22. ...*бежим к доброму князю Владимиру*. — Вероятно, в Киев, к Владимиру Святославичу, князю Смоленскому (конец XIV — начало XV в.).

С. 24. Эпиграф взят из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1803—1805).

С. 25. ...*читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом*. — Речь идет о торговых соглашениях Новгорода с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, а также о заключенном в 1395 г. новгородскими боярами союзу с литовскими феодалами. *Изяслав* — князь (1024—1078), старший сын Ярослава Мудрого (978—1054), великого князя Киевского. *Липец* — липовый медовый напиток. *Алдерман* (олдермен; а н г л.) — член городской администрации в Англии. ...*запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы*

к смелому Гаральду...— Гаральд Строгий (1015—1066) — норвежский король (1046—1066), был женат на дочери Ярослава Мудрого — Елизавете. Подвиги Гаральда воспеты в скандинавской поэзии.

С. 26. *Бирюч* (бирич) — в допетровской Руси — вестник, глашатай. ...*бегун фряжский*... — быстрая на ходу лошадь иностранной (заморской) породы.

С. 27. *Корольковые кисточки* — пучок из корольков (петушиных или куриных перьев), служащий для украшения лошади. *Лядунка* (ладунка) с *снарядом*... — у артиллеристов — металлическая сумка для патронов. ...*строятся стороны*... — Новгород делился пополам рекой Волхов на левую сторону — Софийскую, с центром в Детнице (Кремль), и правую — Торговую, где находилось Ярославово дворище и собиравлось вече. Многие столетия обе стороны враждовали между собой.

С. 28. *Василий I Дмитриевич* (1371—1425) — великий князь Московский (с 1389 г.). Борясь против Орды, еще сильной, несмотря на поражение на Куликовом поле, он вынужден был заключить союз (1392 г.) с литовским князем Витовтом Витаутасом (1350—1430), который был скреплен браком Василия I с дочерью Витовта Софьей. ...*жду покорности новгородской митрополиту Москвы*... — то есть подчинения Новгорода суду Московского митрополита, чему Новгород сопротивлялся. Вскоре Москва потребовала от Новгорода подчинения и в вопросах внешней политики, особенно после похода Московского князя 1396 г.

С. 30. *Скиригайло* — Свидригайло (Швитригайла) (1354—1396) — младший брат польского короля Ягайла Ольгердовича, великий литовский князь с 1388 г. В 1392 г. вынужден был уступить власть Витовту, ставшему великим князем Литвы. *Наримант* — один из сыновей литовского князя Ольгерда Альгирдаса (1341—1377); был повешен Витовтом на дереве и, повешенный, расстрелян. *Витовт... хвалится*... — Витовт, великий князь Литвы, препятствовал объединительной политике московских князей: разорял Смоленск, Рязань, Тверь, трижды вторгался в пределы Московского княжества (1406—1408), хотел захватить и Новгород.

С. 31. ...*отразили предки булат Андрея Боголюбского?* — Имеется в виду битва новгородцев (1170) с владими́ро-суздальским князем Андреем Боголюбским (ок. 1111—1174), сыном Юрия Долгорукого.

С. 32. *Ферезь* (ферязь) — старинная русская одежда.

*Камчатные завесы* — от слова «камка» — шелковая цветная ткань с узорами. Здесь — узорчатые занавеси.

С. 33. *Опашень* (истор.) — летняя одежда — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами.

С. 35. *Баскаки* — на Руси при татарском иге представители ханской власти — сборщики податей.

С. 37. *Сальчей* — князь монголов, захватил шайку новгородских разбойников и продал их тюркским болгарам, жившим на Волге. *Война с Дмитрием*... — Имеется в виду война Дмитрия Донского против Новгорода (1386).

С. 38. Эпиграф взят из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

С. 40. Эпиграф взят из элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

С. 41. ...*через Москву белокаменную*... — Явный анахронизм у А. Бестужева: время действия его повести относится к 1396—1398 гг.,

а белокаменной Москву стали называть после того, как при царе Федоре Иоанновиче в 1586 г. были поставлены белокаменные стены по нынешнему малому Садовому кольцу (стены Китай-города воздвигнуты в 1534 г.). *Размётная грамота* — то есть грамота с объявлением о разрыве отношений.

С. 42. Эпиграф взят из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить...», входящей в цикл песен, написанных в 1803—1810 гг.

С. 44. *...ворвался в Двинские области...*— В 1397 г. великий князь Василий Дмитриевич послал войска в Двинскую землю, требуя признания его власти. Северная новгородская колония отделилась от Новгорода и признала власть великого князя. *...люди жите...*— то есть хозяева, земледельцы. *Пятины* — пять административных волостей, на которые делились земли Великого Новгорода в XII—XV вв.: Водская (около Ладоги), Обонежская (до Белого моря), Бежецкая (до р. Мсты), Деревская (до р. Ловати), Шелонская (от р. Ловати до р. Луги), была и собственно Новгородская волость.

С. 45. *...разбили его рогатки...*— В Древней Руси узникам надевали на шею железные (или деревянные) ошейники. *Орлец* — новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины. Двинскими боярами она была сдана московским войскам. В 1398 г. была разорена новгородцами.

С. 46. *...с московскими кормовщиками и отсталыми...*— Кормовщик — старший в артели, заведовал питанием людей. *Шишак* — металлнический шлем с острием (шншом).

С. 47. *Ратовье* (ратовище) — древко копья.

С. 48. Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1812).

Замок Нейгаузен. (С. 50.) *Рыцарская повесть*. Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1824 г., за подписью — Александр Бестужев. *Давыдов Д. В.* (1784—1839) — поэт, герой партизанского движения во время Отечественной войны 1812 г. *Нейгаузен* — пограничный замок литовских рыцарей, построенный в начале 40-х гг. XIV в. (у Марлинского неверно — 1277 г.) и служивший опорным пунктом рыцарей при набегах на русские и новгородские земли (современное название — Вастселлина). *...взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II...*— Эбергард фон Монгейм — литовский магистр с 1327 г. Дата взятия Риги у Бестужева неверная: Рига была взята в 1330 г., а не в 1334 г. Кроме того, архиепископом в Риге в это время был Фридрих Лобенштет (с 1304 по 1340 г.), а не Иоанн II, умерший в 1295 г.

С. 51. *...стенные пицали...*— длинное тяжелое ружье, заряжающееся со ствола. *...осьмиконечный мальтийский крест...*— орденский знак мальтийских рыцарей, возникший в XI в.

С. 52. *Миннезингеры* — средневековые поэты Германии, воспевавшие рыцарскую любовь.

С. 53. *Муравленные* (муравчатые) *украшения* — украшения, покрытые глазурью.

С. 57. *Камлотовое платье* — платье из шерстяной ткани.

С. 60. *Фрейграф* — член тайного рыцарского судилища.

С. 61. *...с литовским князем Витовтом.*— Как установлено комментаторами, А. Бестужев ошибся, назвав князя Витовта вместо другого литовского князя, Витена, который в 1298 г. нанес серьезное поражение рыцарям, и дата — 1286 г.— указана ошибочно.

**Испытание.** (С. 76.) Впервые в «Сыне отечества и Северном архиве», 1830 г. № 29, 30, 31, 32, за подписью — А. М., с пометкой: 1830, Дагестан. Посвящается Ардалionу Михайловичу Андрееву, петербургскому знакомому А. А. Бестужева, принимавшему участие в подготовке его Собрания сочинений. *Клеопатра* (69—30 гг. до н. э.) — царица Египта, прославившаяся красотой и умом.

...и *смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаяла в бокалах.* — Согласно преданию, Клеопатра поспорила с римским императором Антонием, что она за скромной трапезой может потратить 10 тысяч систерций; она велела подать чашу с уксусом, опустила туда жемчужину из своей серьги, которая тут же растворилась, и затем выпила этот уксус (см.: Плиний Старший. Естественная история, кн. IX, гл. 58).

**С. 77. ...гомеровского описания дверей...** — Имеется в виду описание двери опочивальни Телемаха в «Одиссее» Гомера. ...*славный китовов Скорезби...* — Вильям Скорезби (1789—1857) — английский мореплаватель. Свои наблюдения о северных морях изложил в сочинении: «Account of the arctic regions» (Лондон, 1820). ...*сохрани меня Аввакум!* — Имеется в виду или Аввакум Петрович (1620—1682) — протопоп, поборник русского старообрядчества, или один из библейских пророков. ...*трехбунчушный паша...* — Паша — высокий титул сановников Турции. Знаком их достоинства был бунчук (пучок конских волос).

**С. 78. *Плуж-пудинг* (англ.)** — сливовый пудинг. *Жомини* Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779—1869) — военный писатель и теоретик. Родился в Швейцарии, служил в швейцарской, французской армиях. В русской армии служил с 1813 г., был генералом от инфантерии (1826). *Люцифер* (лат.) — в христианской мифологии сатана, дьявол. «*Фрейшиц*» (нем. Freischütz) — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826), впервые поставленная в 1821 г. ...*аппликатура V.C.P. со звездочкой...* — сорт шампанского вина; аппликатура — металлическая накладка на горлышке бутылки.

**С. 79. *Рутировать*** — ставить на одну и ту же карту.

**Знак *Водолея*** — одно из зодиакальных созвездий, в которое солнце вступает в январе.

**С. 81. ...*соляной обломок Лотовой жены...*** — По библейскому преданию, жена патриарха Лота, покидающая обреченный на гибель Содом, вопреки запрещению бога обернулась и взглянула на пылающий город, за что была обращена в соляной столб.

**С. 82. ...*убрался в Елисейские...*** — В греческой мифологии Елисейские поля, или Элизий, — часть загробного мира, где пребывают праведники. Здесь: умереть. *Арендт* Николай Федорович (1785—1859) — хирург, лейб-медик. *Альнаскар* (Альнаскар) — отставной мичман, персонаж из комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818). *Платон* (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. *Декарт* Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик и физиолог.

**С. 84. Эпиграф** взят из поэмы Байрона «Дон Жуан» (1824). *Финская Пальмира* (Северная Пальмира) — то есть Петербург. Пальмира — древний город в Сирии, славившийся пышностью и богатством (I тысячелетие до н. э.). *Гогарт* Вильям (1697—1764) — английский живописец и гравер, изобразивший бытовые и уличные сцены.

**С. 85. ...*гуси, забыв капитолийскую гордость...*** — Гуси у древних

римляни считались священными птицами и находились в Капитолии, так как, по преданию, они спасли Рим, предупредив своим гоготанием спавших жителей о приближении врагов.

С. 86. *...писателю апологов...*— Аполлог — аллегорический рассказ, басня. Возможно, имеется в виду И. И. Дмитриев (1760—1837), писавший аполлоги. *...пустынники Галерной гавани, или Коломны, или Прядыльной улицы...*— Подразумеваются популярные в журнальной литературе 20—30-х гг. псевдонимы критиков; напр., «Житель Галерной гавани» — псевдоним О. М. Сомова; под псевдонимом «Луницкий старец» выступали М. Т. Каченовский, М. П. Погодин и П. Л. Яковлев (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 690).

С. 87. *...гирлянда с цветами из «Потерянного рая»...*— По-видимому, одна из причуд моды того времени, взятая с богатого орнаментом красочного описания эдема с его цветами, кущами, виноградными гроздьями, лаврами, миртами в издании поэмы Джона Мильтона (1608—1874) «Потерянный рай» (1667). *Изида* — египетская богиня. «Покрывало Изиды» олицетворяет тайну.

С. 92. *Окен* Лоренс (1779—1854) — немецкий философ и естествоиспытатель.

С. 94. *Кастор и Поллукс* — по греческой мифологии, неразлучные братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды.

С. 95. *Чичисбеизм* — обычай в старой Италии, по которому замужняя женщина не может прогуливаться без сопровождения постоянного спутника.

С. 97. *Лавка Петелина*. — Петелин — петербургский торговец женскими нарядами.

С. 99. *...жили в Аркадии...*— Аркадия — страна, где протекала идиллическая, счастливая жизнь.

С. 103. *...в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень...*— Неточная цитата из стихотворения А. Мицкевича «Первоцвет» (1820—1821).

С. 105. *Мизогин* — ненавистник женщин.

С. 109. *Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева. Была казнена английской королевой Елизаветой, обвинившей ее в заговоре. *Генрих IV* (1553—1610) — французский король, первый из династии Бурбонов. В 1593 г., во время гугенотских войн, перешел в католичество, в 1598 г. издал Нантский вердикт о предоставлении гугенотам свободы вероисповедания. *...восхищаться гением нашего великого Петра... и всего более под Прутом...*— Имеется в виду Прутский договор 1711 г. между Россией и Турцией, подписанный Петром I.

С. 110. *Селадон* (фр.) — имя героя романа французского писателя д'Юфре (1568—1625) «Астрея», ставшего нарицательным для определения сентиментального возлюбленного, а также волокиты.

С. 117. Эпиграф взят из трагедии Ф. Шекспира «Мария Стюарт» (1801).

С. 118. *Криспен* — слуга, герой комедии Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707). *... аттической формой рук...*— Здесь: изящная, стройная.

С. 122. *Дафнис и Меналк* — герои любовной, идиллической поэмы XVI—XVII вв. *Барабинская степь* — расположена между реками Иртыш и Обь, в пределах теперешней Новосибирской области.

С. 123. ...свадебные подножки... (устар.) — коврик, постилаемый во время обряда венчания.

С. 125. *Шнеллер* (нем.) — спусковой крючок у пистолета.

С. 128. *Мемнова статуя* — статуя в Египте, издававшая при восходе солнца дрожащий звук, что объяснялось сменой температуры дня и ночи.

Страшное гаданье. (С. 137.) *Рассказ*. Впервые — в «Московском телеграфе», 1831 г., № 5 и 6, за подписью — Александр Марлинский, с пометкой: 1830 г. Дагестан. *Лутковский Петр Степанович* (ок. 1800—1882) — морской офицер, друг Мухоморова и Александра Бестужевых; был близок к другим декабристам. Его брат Ф. С. Лутковский (1803—1852) привлекался по делу декабристов.

С. 143. *Кика* — праздничный головной убор замужних женщин.

С. 151. «*Красавица озера*». — Имеется в виду поэма «Дева озера Лакатринского» (1810), то есть Елена Дуглас, героиня английского романиста Вальтера Скотта (1771—1832).

С. 155. ...с *одной барской барыней*. — Так крепостные крестьяне иронически называли служанок в помещичьих домах.

Лейтенант Белозор (с. 168). Впервые — в журнале «Сын отечества и Северный архив», 1831 г., № 34—42, за подписью — Александр Марлинский, с пометкой: Дагестан, 1830. Эпиграф взят из стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824). Первая и четвертая строки цитируются А. Марлинским неточно. ...*блокировала при голландских берегах флот французский*. — В 1806 г. Наполеон ввел континентальную систему для подрыва экономического и политического могущества Англии. Англия в ответ на это блокировала в ноябре 1807 г. все порты Франции, Голландии и других европейских стран, присоединившихся к системе Наполеона. С 1812 г. приняла участие в этой блокаде и Россия.

С. 169. *Фальшфейер* (нем.) — старинное сигнальное устройство, применяемое на судах для указания их местонахождения и для иллюминации. *Стеньга* — верхняя надставная часть мачты.

С. 170. *Шканцы* — часть верхней палубы на военных парусных судах, где происходят официальные церемонии. *Битенг* — чугунная тумба на палубе на пути движения якорной цепи. *Льяло* — водосточный канал вдоль борта в нижней части трюма корабля. ...*держим на храпу*. — Здесь: работа помп (насосов) с предельной силой. *Марсари* — реи, к которым прикрепляется прямой парус. *Рангоут* — совокупность оборудования верхней палубы. *Семенов Дмитрий Николаевич* (1763—1831) — выдающийся русский адмирал, сподвижник Ф. Ф. Ушакова; был главнокомандующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море во время 2-й Архипелагской экспедиции русского флота 1805—1807 гг.

С. 171. ...*бить рынду*. — звонить в колокол в полдень (от англ. *ring the belle* — звонить в колокол). *Сейтали* — приспособление из блоков и троса для обтягивания канатов, поддерживающих мачту, для подъема тяжестей.

С. 172. ...*обрасопить нос*. — повернуть.

С. 173. *Рифмарсель* (голл.) — ряд продетых сквозь парус веревок, с помощью которых можно управлять парусом трапецевидной формы. *Репетиционный фрегат* — фрегат, служащий для немедленного

повторения сигналов флагмана. *Выговорная пушка* — пушка, подающая сигнал кораблю.

С. 174. *Бейдевинд* — курс парусного судна против ветра. *Шкоты* (голл.) — снасть для управления парусом. *Бизань* (голл.) — парус на самой задней мачте. *Ванты* (голл.) — снасти для бокового крепления мачт.

С. 175. *Ют* — кормовая часть верхней палубы судна. *Ростра* — площадка над палубой судна для установки шлюпок.

С. 176. Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Ричард III» (1592).

С. 178. *Эней* — в греческой мифологии один из троянских героев, сын царя Анхиза и богини Афродиты. Римский поэт Вергилий (70—19 гг. до н. э.) описал приключения Энея в поэме «Энеида».

С. 182. *...нового французского короля Луциана...* — Речь идет о брате Наполеона I, Луи Бонапарте, который был провозглашен главой Голландского королевства в 1806 г. Он проводил слишком самостоятельную политику и нарушал континентальную блокаду, вследствие чего был отстранен от власти и королевство было включено в состав Французской империи.

С. 184. *...выброшен из кита, словно Иона...* — Иона — один из библейских пророков; согласно легенде, он три дня пребывал в чреве кита.

С. 186. *Гебея* (Геба) — в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры; на пирах богов выполняла обязанности виночерпия. *Брюсов календарь* — настольный календарь, составленный библиотечником В. Куприяновым под наблюдением Якова Брюса в 1709—1715 гг. Содержал астрономические данные, церковные справки и астрологические предсказания.

С. 187. *Пико де ла Мирандола Джованни* (1463—1494) — итальянский философ и ученый эпохи Возрождения, полиглот. *Рюйтер* (или Рейтер) Михаил-Андреасон (1607—1676) — голландский адмирал.

С. 188. *Оранжесты* — монархическая группировка, сторонники династии принцев Оранских-Нассау в Нидерландах. *Бурмитские зерна* (бурмитские) — крупные, окатные (круглые) жемчужины. *...воздушные вавилонские сады...* — то есть висячие сады Семирамиды, легендарной ассирийской царицы. Сады эти считались в древнем мире одним из семи чудес света. *Фризские кони* — лошади из северо-восточных районов Германии, где в древние времена жило германское племя фризов.

С. 189. *Мета* — здесь: намеченная черта, остановка.

С. 190. *...мавританских замков в Альгамбре...* — Имеются в виду мавританские архитектура и искусство, созданные арабскими завоевателями в Испании. Самым значительным памятником этой архитектуры является крепость-дворец Альгамбра около Гранады (XIII—XIV вв.). *Аргус* — в греческой мифологии стоглазый великан, зоркий страж.

С. 191. *Конфуций* (Кун-Цзы) (551—479 гг. до н. э.) — известный древнекитайский философ. *Теньер* (Тенирс Давид Младший) (1610—1690) — фламандский живописец-жанрист, основатель антверпенской Академии художеств (1663). *Ван дер Неер* (1603—1677) — голландский живописец-пейзажист. *Остаде* — голландские живописцы: Андриан ван Остаде (1610—1685) и его брат и ученик Исаак ван Остаде (1621—1649). *Вуверман* (Водверман) Филипп (1619—1668) — гол-

ландский живописец. *Ван-Дик* (Ван-Дейк) Антониис (1599—1644) — выдающийся фламандский живописец, ученик Рубенса. *Витт Ян* (1625—1672) — известный нидерландский деятель. *Бинг Джон* (1704—1757) — английский адмирал. *Кальян* (перс.) — прибор для курения табака у восточных народов. *Аббас I* (1557—1628) — иранский шах. *Типпо-Саиб* (Типу-Султан) (1750—1799) — правитель южно-индийского княжества Мансур в 1782—1799 гг., возглавивший борьбу против английских колонизаторов.

С. 192. *Элевзинские таинства* — религиозные обряды, совершавшиеся в Древней Греции, в городе Элевзине.

С. 193. *Экклезиаст* (проповедник; греч.) — одна из книг Ветхого завета, проникнутая пессимизмом. *Манфред* — герой одноименной поэмы Байрона (1817). *Перкинс* — английский механик, производивший с 1823 г. опыты по применению пара высокого давления в паровых машинах. *Дженкинс*, *Допкинс* — видимо, прописные условные имена английских изобретателей. ...*являлся... подобно карпам в пруде Марли*. — Марли — дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721—1723 гг.; в прудах около дворца была рыба, по зову колокольчика подплывавшая к берегу и получавшая корм.

С. 202. *Филиппика* (филиппики; греч.) — обличительные гневные речи против какого-нибудь лица.

С. 205. *Пери* — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от злых духов.

С. 207. Эпиграф взят из поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька» (1775). *Элизиум*, *элизий* (лат.) — в античной мифологии — благодатное место на крайнем западе земли, где блаженствуют избранные богов.

С. 213. *Франциск I* (1494—1547) — французский король; в начале своего царствования покровительствовал ученым, литераторам, художникам. *Пирамида Вестриса*. — Здесь спутаны имена французского балетмейстера Вестриса и египетского фараона Сезостриса.

С. 214. *Фуше Жозеф* (1759—1820) — буржуазный политический деятель Франции. Был членом Конвента, позднее (1799—1810) — министром полиции Наполеона I. *Рыцарь Меркуриева жезла* — то есть всезнающий человек, разносчик вестей. Меркурий в древнегреческой мифологии — вестник богов. В руке он держал жезл.

С. 215. *Монтань* (Монтень Мишель де) (1533—1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор «Опытов» (1580).

С. 216. Эпиграф взят из комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Воздушные замки» (1818).

С. 220. *Обручение дождя с морем*... — обычай в Венеции: новый дождь бросал в море кольцо, что символизировало его обручение с морем.

С. 224. Эпиграф взят из «Послания к слугам моим» (1763) Д. И. Фонвизина.

С. 225. *Смоглер* — контрабандист.

С. 229. *Тартана* — цветная шотландская материя.

С. 230. *Юнгфров* (гол.) — барышня.

С. 231. *Буцефал* — так звали коня Александра Македонского.

С. 232. Эпиграф взят из басни И. А. Крылова «Ворона и курица» (1812).

С. 234. *Тендер* (англ.) — небольшое одномачтовое парусное спортивное судно. *Бугшприт* — передняя мачта на парусном судне, лежащая наклонно вперед, за водорез.

С. 236. *Прелиминарная статья* — основное предварительное условие.

С. 237. *Фальконет* (англ.) — старинная пушка, стрелявшая свинцовыми снарядами. *Погонные пушки* — установленные для стрельбы прямо по носу корабля. *Обдуй фитиль!* — Фитиль — приспособление для взрывания снарядов. Здесь: очистить фитиль. *Гафель* (голл.) — специальный рей, служащий для прикрепления верхней кромки паруса.

С. 238. *Топсель* — рейковый парус треугольной (иногда четырехугольной) формы. *Форкастель* — небольшой помост на палубе над средней частью судна. *Линьки* — веревка тоньше одного дюйма, служившая на судах для телесного наказания. *Брандер* (нем.) — судно, применяемое для поджога неприятельских судов. *Верп* — малый, вспомогательный якорь. *Бакиштоф* — канат, с помощью которого судно укрепляется за корму другого.

С. 242. *Золова арфа* — в греческой мифологии арфа повелителя ветров Зола. *Термин* — в древнеримской мифологии бог — охранитель границ.

С. 243. *Кроншлот* — отдельное укрепление к югу от Кронштадта, заложенное Петром I в 1703 г.

Аммалат-бек. (С. 245.) Впервые — в «Московском телеграфе», 1832 г., № 1—4, за подписью — Александр Марлинский, с пометкой: 1931, Дагестан.

Печатается по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, фонд 69, ед. хр. 8. В первой публикации были сделаны цензурные купюры: в гл. 5, где говорится весьма лестно о главнокомандующем Кавказским корпусом А. П. Ермолове, а также в местах, где рассказывается о суровых мерах русских войск против горцев, когда вырубались леса, пожигались посевы и т. д.

А. Марлинский работал над повестью с мая 1830 до сентября 1831 года. В основе повести — местное предание о драматической истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. Он писал Н. А. Полевому 13 августа 1831 года: «Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля» («Русский вестник», 1861, март, т. 32, с. 305).

Ниже приводится примечание автора к «Аммалат-беку». В постскриптуме этого примечания Марлинский писал так: «Чтобы не разрушать занимательности романтической, примечание можно поместить номером после». Редактор «Московского телеграфа» так и поступил. В Собраниях сочинений, вышедших при жизни автора, это примечание не печаталось.

«Примечание: Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушлинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819-го года. Автор заставил Аммалата сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитско-

го офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822-м году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова назначили Верховского командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повести на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не считал за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мещинне — святиня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески: исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне много очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотою. Да и мудрено ль, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819-м году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неизмеримо рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо калыму (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата, и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон на другую ночь могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке: ее приняли за могилу Верховского, труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.

Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестью. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 году дрался в Бранлове против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех его странствий, одним қаракайдакским беком.

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями. Все анекдоты об его удачестве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастья только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселлимом, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.

*Сентябрь 1831 года.  
Дагестанъ.*

С. 245. *Полевой Н. А. (1796—1846) — писатель, издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834).*

С. 247. *Чуха*, или *чоха* (т у р.) — верхняя мужская одежда с широкими откидывающимися рукавами. *Термалама* (термолама) — плотная шелковая или полушелковая ткань. *Чепрак* (т у р.) — сукодная, коврающая или иная подстилка под седло поверх потника. *Потебни* (у к р.) — кожаные лопасти по бокам седла.

...*хорасанского булата*... — Хорасан — северо-восточная иранская провинция, известная производством оружия.

С. 252. ...*дали буг, не позволяя*... (польск.) — далее кусты, купы (деревьев), двигаться нельзя.

С. 253. *Султан-Ахмет-хан Аварский* (ум. в 1823 г.) — числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассхан-ханом (убит в 1819 г.) вел изменническую политику, не раз выступая против русских на Кавказе.

С. 254. *Ферман* (фирман) — письменное повеление, приказ в мусульманских странах. *Куран* (Коран) — основная «священная» книга ислама, сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых текстов.

С. 257. *Сардарь* — министр двора; здесь: главнокомандующий, то есть Ермолов А. П. (1777—1861) — генерал, герой Отечественной войны. ...*обижен письмом... генерала*... — Имеется в виду ответ Ермолова на письма Аварского хана в 1818 г. Главнокомандующий разгадал изменническую политику хана и предложил ему быть подданным или врагом России.

С. 258. *Стамбульский диван* — в Турции совещательное собрание сановников при султанах.

С. 260. *Чурек* — на Кавказе хлеб особой выпечки в форме большой лепешки. *Уздень* — лицо, принадлежащее к феодальному дворянству Кабарды и Дагестана.

С. 276. *Омировские герои* — то есть гомеровские.

С. 285. *Берсеркеры* — в скандинавской мифологии воины, обладавшие сверхчеловеческой силой и бешеной яростью в битвах.

С. 288. *Нагалище* — ружейный чехол.

С. 290. *Гяур* — презрительное название всех иноверцев у лиц, исповедующих ислам, главным образом в середине века.

С. 294. *Аманаты* (а р м.) — заложники, взятые в обеспечение договора (в Древней Руси и в некоторых восточных странах).

С. 295. ...*голова буйвола вонзилась рогами в землю*. — Н. Берг в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды он спросил Ермолова, правда ли, что он ссекал голову быку. Ермолов ответил отрицательно. Но тут же признался: «А силен я был, это точно, ужас как был силен» («Русская старина», 1872, т. 1, с. 989).

С. 298. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор книги «Физиогномические фрагменты», в которой утверждалось, что по строению лица и черепа человека можно определить его характер.

С. 304. ...*фарсийского пустословия*... — восточного.

С. 310. ...*во время войны с фиренгами*... — то есть с французами.

С. 311. ...*умер его приятель-соперник*. — В 1820 г. полковник Пузыревский был назначен Ермоловым правителем Имеретин, но вскоре был убит во время карательной экспедиции.

С. 314. ...*видна уже стена*. — К западу от Дербента видны развалины стен и башни, сооружение которых приписывалось Александру Македонскому; завоевавшему Персию в IV в. до н. э. *Дербент-наме* — сочинение по истории Дербента, переведенное на русский

язык по приказанию Петра I. *Царь Нуширван* Справедливый происходил из династии Сасанидов, царствовал с 530 по 578 г. Ему приписывается окончательная постройка крепости Дербента, основанного в конце V или начале VI в. *Плиний Старший* Гай Секунд (23—79) — римский ученый и писатель, автор энциклопедического сочинения «Естественная история» (в 37 кн.). *Прокопий Кесарийский* (между 490 и 507 — после 562 гг.) — крупнейший византийский историк, участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Основываясь на личных впечатлениях, написал сочинение «История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» (в 8 кн.; 553 г.). *...имея...железными воротами Дербент...* — Слово «Дербент» — персидское (дер — дверь, бенд — преграда, застава); у арабов Дербент назывался «главные» или «железные ворота». *Меридово озеро* — знаменитое озеро в Древнем Египте, соединенное с Нилом; уровень воды в озере регулировался с помощью шлюзов. *Я бродил по следам великого Петра...* — Речь идет о персидском походе Петра I в 1722 г., целью которого было расширение торговых связей между Россией и Востоком. В результате этих походов ряд районов Дагестана и Азербайджана был присоединен к России. В 1735 г. завоеванные районы были возвращены Персии.

С. 316. *Табасаранцы* — народность Дагестана, относящаяся к лезгинской группе.

С. 317. *Киса* — сумка; здесь: деньги. *Марена* — трава, из которой добывается красная краска — крапп. *...за Швецова дали выкуп...* — В феврале 1816 г. чеченцы взяли в плен по дороге из Дербента в Кизляр майора Швецова. Они содержали его в тяжелых условиях и потребовали за него огромный выкуп, но освободили за уменьшенную сумму.

С. 319. *Гаким* (хаким) — мудрец.

С. 322. *Харамазда* — жулик, обманщик.

С. 323. *Аллах-Бекерет!* — слава богу (бог милостивый).

С. 325. *Любовь, как Мидас, претворяет все...* — В греческой мифологии Мидас — фракийский царь, от прикосновения которого все превращалось в золото.

С. 327. *...корону шамхальскую...* — титул правителей в Дагестане с конца XII в. до 1867 г.; впоследствии такой титул носили только кумыкские правители.

С. 330. *Факир* — здесь: мусульманский аскет, давший обет нищенства.

С. 331. *Саади Ширази* (между 1203 и 1210—1292) — таджикско-персидский писатель и мыслитель; автор дидактической поэмы «Бустан» (1257) и сборника рассказов и поэтических афоризмов «Гулистан» (1258). *Гафиз*, или *Хафиз* (псевдоним Мохаммеда Шемседдина) (1325—1389) — таджикско-персидский поэт-лирик, автор многочисленных газелей (двустопная строфа восточного стихосложения с постоянной рифмой на конце каждого двустопия).

С. 336. *Кляпцы* — западня, ловушка, капкан.

С. 352. *...подобно войску фараона...* — Имеется в виду библейский рассказ о гибели войска фараона, бросившегося в погоню за израильтянами, выведенными Моисеем из Египта, и погибшего в волнах Черного (Красного) моря.

С. 356. *...Ермолов громил Дербент...* — А. П. Ермолов принимал участие в персидском походе гр. Вал. Зубова; за штурм и взятие Дербента в мае 1796 г. был награжден орденом св. Владимира четвертой степени.

С. 361. *Бомбарда* — корабль, стрелявший каменными и металлическими ядрами и предназначенный для бомбардирования крепостей с моря. *Редан* (редант) — полевое укрепление, имеющее форму выступающего наружу угла.

Мореход Никитин. *Быль* (с. 366). Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834, т. 4, за подписью — Александр Марлинский, с пометкой: 1834 г. Дагестан.

Основой произведения является устное народное предание об архангельском мореходе Савелии Никитине, восходящее к подлинному историческому факту: Матвей Герасимов, русский хлеботорговец, совершил в 1810 г. рейс из Архангельска в Норвегию на парусном судне. В пути команда судна была захвачена в плен английским кораблем, но сумела освободиться и привести корабль к родным берегам.

С. 367. *Слово корабль... произвожу я от короба...* — По мнению ученых (А. Мейе), слово «корабль» все же греческого происхождения — *καράβι*, *καράβος*. *Аргонавты* — древнегреческие герои; предводительствуемые Язоном, совершили поход на корабле «Арго» в Колхиду (ныне район г. Сухуми) за золотым руном. *Штык-болт* (мор.) — особый узел при связывании толстых веревок, канатов, тонкая снасть. *Шитик* — мелкое речное судно.

С. 368. *Ситка* (Ситха) — ныне Ново-Архангельск. *Виргинский табак* — нюхательный табак, выращенный в Виргинии (Сев. Америка).

С. 369. *...кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок...* — Видно, здесь имеется в виду Н. Ф. Одоевский (1804—1869), автор книги «Пестрые сказки с красным словом» (1833). *Соломбол* (Соломбал) — остров в устье Северной Двины, на котором Петр I в 1693 г. заложил верфь. *Противоскорбутный* — от нем. скорбут — цинга, развивающаяся вследствие отсутствия в пище витамина С. *Сороковой* — то же, что сорокаведерный.

С. 370. *...летописи и несомненное Несторовой...* — Нестор (годы рожд. и смерти неизв.) — русский писатель конца XI — нач. XII в., предполагаемый автор «Жития Феодосия Печерского», «Чтения о Борисе и Глебе» (80-е гг. XI в.) и составитель летописного свода «Повести временных лет» (ок. 1113). *Кювье Жорж* (1769—1832) — французский естествоиспытатель, автор известных трудов по анатомии, палеонтологии и систематике животных. *...не делают фантастических путешествий...* — Речь идет о восточных новеллах О. И. Сенковского «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» (Фантастическая книга) (1833). *...китайчаты шаровары...* — из «китайки», хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая. *Топсель* (голл.) — косой треугольный парус, прикрепляемый вершиной вниз поверх косоугольного паруса, в треугольнике между ним и мачтой. *...на кораблях купца Брандта...* — Брандт Карстен (ум. в 1693 г.) — голландец, корабельный мастер, первый наставник Петра I в морском деле.

С. 371. *Шкипер* (голл.) — командир грузового судна.

С. 373. *...за ней приданое не рогато* — невелико (нет рогатого скота). *Заговенье* (церк.) — последний день перед постом, когда можно употребить скоромную (мясную) пищу. *Спас* — церковный праздник. *Миткаль* — самая простая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец. *Ростни* (росстани) — прощание, прощанье.

С. 374. *Капер* — торговое морское судно, вооруженное частным владельцем, с разрешения властей, для военного грабежа и нанесения вреда неприятелю. ...*тогда с англичанами была война*... — В 1807 г. Россия, по условиям Тильзитского мира, прекратила торговые отношения с Англией, присоединившись к континентальной блокаде.

С. 376. *Альциона* (Алькиона) — звезда третьей величины, самая яркая из Плеяд. *Диез* (м у з.) — знак повышения звука на полтона.

С. 377. *Брандвахта* (нем.) — караульное судно на рейде или в гавани.

С. 378. *Мартингал* — в конской упряжке ремень, идущий от удила к нагруднику для направления головы лошади в нужное положение. *Шлих-цигель, шпанш-рейтер* — особые аллюры (способ бега или хода лошади) при верховой езде.

С. 379. *«Записки» Трелонея* — Трелоуни (Трелонет) (1797—1881) — английский писатель, друг Байрона. *«Последняя нескромность современницы»* — вышедшие в 1827 г. записки французской авантюристки де Фонье. *Смирдин Александр Филиппович* (1795—1857) — книгопродавец и книгоиздатель. *Жоанно Тонн* (ум. в 1853 г.) — французский гравёр и рисовальщик, два брата тоже были гравёрами и рисовальщиками. *Видок Эжен-Франсуа* (1775—1857) — французский сыщик, в прошлом уголовный преступник, автор «Мемуаров», частично переведённых на русский язык в 1829—1830 гг.

С. 380. *Крупчатик* — хлеб из лучшего сорта пшеничной муки. *Караван-сарай* — в Азии — гостиница или постоялый двор со складом для караванных товаров. *Маливаться* — то есть молиться. *Чудотворцы Зосима и Савватий* — монахи Кирилло-Белозерского монастыря, основатели Соловецкого монастыря (в 20—30-х гг. XV в.).

С. 384. *Румб* (англ.) — направление от наблюдателя к точкам видимого горизонта относительно стран света. *Бюффон Жорж-Луи-Леклерк* (1707—1788) — французский ученый-естествоиспытатель, автор «Естественной истории», имевшей большое значение для развития науки в XVIII в., и ряда работ в области геологии.

С. 386. *Шейлок* — герой трагедии В. Шекспира «Венецианский купец» (1596).

*Попель* — полулегендарный польский король; по преданию, отравил всех своих родственников, а сам был съеден мышами. Династия Попелей кончилась ок. 860 г. *Касьянов день* — 29 февраля. Христианский святой Касьян, по поверьям, имеет недобрый взгляд, в отличие от святого Николая. *Куттер* (англ.) — катер. *Гик* (голл.) — вращающееся рангоутное дерево, упирающееся в мачту, растягивающее нижнюю кромку паруса.

С. 387. *Каронада* (карронада) — артиллерийское орудие с коротким стволом. *Приватирство, корсарство* — морской разбой.

С. 388. *Георг III* (1738—1820) — английский король. *Джиг* (джига, жига; англ.) — быстрый английский танец.

С. 391. *Канал* — то есть Ла-Манш (Английский канал). ...*герои красного флота*... — корсары, морские разбойники; во времена римлян и позднее разъезжали в судах, украшенных в пурпур и золото.

С. 392. *Кола* — город, расположенный на слиянии рек Кола и Тулома на Кольском полуострове (недалеко от Мурманска). ...*суп из костей для бедных*... — или «Румфордов суп». *Румфорд-Бенджамин-Томпсон* (1753—1814) — английский физик, покровительствовавший бедным.

С. 394. *Абордаж* (фр.) — тактический прием морского боя, представляющий собой сцепку судов для рукопашной схватки. *Штуртрос* — кожаный трос для вращения верхнего бруса руля.

С. 397. *...два яруса вавилонского столпа...* — то есть вавилонское столпотворение — по библейскому мифу, попытка построить в Вавилоне башню (столпотворение — строение столпа, башни). *Бар* (англ.) — наносная мель в устьях рек.

С. 398. *...лодвиг Долгорукого при Петре...* — Долгорукий Яков Федорович (1639—1720) — государственный деятель при Петре I; в битве под Нарвой в 1700 г. был взят в плен шведами, пробыл там более 10 лет; в 1711 г. вместе с товарищами захватил шуну и приплыл в Таллин (Ревель).

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Судьба Александра Бестужева. <i>Предисловие</i><br><i>Вл. И. Гусева</i> | 3   |
| Роман и Ольга. <i>Старинная повесть</i>                                 | 16  |
| Замок Нейгаузен. <i>Рыцарская повесть</i>                               | 50  |
| Испытание                                                               | 76  |
| Страшное гаданье. <i>Рассказ</i>                                        | 137 |
| Лейтенант Белозор                                                       | 168 |
| Аммалат-бек. <i>Кавказская быль</i>                                     | 245 |
| Мореход Никитин. <i>Быль</i>                                            | 366 |
| Комментарии В. И. Кулешова                                              | 399 |

**Бестужев-Марлинский А. А.**

**Б53** Романтические повести: Повести, рассказы, были/Сост. В. Ф. Турунтаев; Предисл. Вл. И. Гусева; Комментар. В. И. Кулешова.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 416 с., фронт.

В пер.: 2 р. 10 к. 100 000 экз.

А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837) — участник декабристского движения, член Северного тайного общества, видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века — является представителем революционного романтизма декабристов.

В книгу вошли «Роман и Ольга», «Замок Нейгаузен», «Испытание», «Лейтенант Белозор», «Аммалат-бек» и другие произведения. Издается книга в серии «Сельская библиотека Нечерноземья».

**Б** 4702010100-005  
М158(03)-84 47-84

**ББК 84Р1**

ИБ № 1096

**Александр Александрович  
Бестужев-Марлинский**

**РОМАНТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ**

Редактор

Н. И. Трубникова

Художник

В. Д. Сысков

Художественный редактор

А. В. Вохмин

Технический редактор

Т. В. Меньщикова

Корректоры

И. Ш. Трушнникова,

Е. В. Иванова

Сдано в набор 7.04.83.

Подписано в печать 20.09.83. НС 11164.

Формат 84×108/32.

Бумага типографская № 3.

Гарнитура литературная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,9.

Усл. кр.-отт. 22,4. Уч.-изд. л. 23.

Тираж 100 000. Заказ 244.

Цена 2 р. 10 к.

Средне-Уральское книжное издательство,  
620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.  
Типография изд-ва «Уральский рабочий»,  
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.







